Алина Гатина

Повесть и другие рассказы

Душа и пустыня

Повесть

Нас было пятеро: Бабичи-неразлучные, Зафар, Вадик Кричевский и я.

Это не главное, но с этого лучше начать.

Я знаю, что все это придумал Вадик Кричевский, а Зафар был его другом. Бабичи-неразлучные — друзья их обоих, а все вместе мы — одноклассники.

Вадик позвонил мне в мае:

— Угадай, что художнику хорошо, а менеджеру смерть?

— Смерть — это тоже выход.

— Я слышу глас прозрения. Ты убедилась, что искусство — это тупик?

— Да, — сказала я.

— И осознала собственную ничтожность?

— Осознала.

— Отлично. Именно такая ты нам и нужна, ибо путешествие к истокам требует полного обнуления.

— Вадик, я работаю. Перезвони мне в августе.

— Ну-ну-ну. Разошлась. Бабичи сказали, ты уволилась.

— Бабичи врут. Я никуда и не устраивалась.

— Вот и умница. Хоть ты не будь как все. Не вздумай продаваться графику. Сопротивляйся.

— Я сопротивляюсь. Но мне правда некогда.

Времени у меня был вагон, но с Вадиком иначе было нельзя.

— Ладно, буду краток. Ты не забыла про Бабичей-великолепных?

— Помню, конечно.

— В этом году они решили отмечать не дома.

— А где?

— На Искандеркуле[1].

— Где это?

Вадик замолчал. Потом спросил:

— С тобой точно все хорошо?

Гатина Алина Станиславовна родилась в Чимкенте в 1984 году. Окончила Казахский национальный университет им. Аль-Фараби и Литинститут им. А.М.Горького (2018; семинар Олега Павлова). Лауреат литературной премии «Алтын Тобылғы» (Фонд Первого Президента РК) за повесть «Саван. Второе дыхание». Первая публикация в России. Живет в Алма-Ате.

[1] Искандеркуль — озеро в Таджикистане, названное в честь Александра Македонского.

— Со мной все плохо, но что это меняет?

— В общем, мы все едем туда. Я, Бабичи-новорожденные, Зафар и ты.

— Я никуда не поеду.

— Ладно. Но билет мы тебе заказали.

— Я не поеду, — сказала я снова, но в трубке уже раздавались гудки.

Вадик — сын академика. Зафар — дипломат. Бабичи-неразлучные — муж и жена. Я... как бы художник. Вроде бы художник. Во всяком случае, так обо мне думают. А больше мне назваться некем. Все вместе мы — беженцы. Такой у нас статус с пятого класса.

На следующий день я иду в издательство, чтобы забрать гонорар. В коридоре никого. Ни дыма, ни людей.

— Деньги будут, только не сразу, — у моего редактора испуганное лицо. — Нас продали, — шепчет она. — Все так не вовремя, да?

— Но кто-то же вас купил, — говорю я.

Меня не очень волнует их дальнейшая судьба. Книги, которые я иллюстрирую последние два года, мне не нравятся. Это развивающая литература для детей от пяти до восьми лет. Они почему-то утверждают самые ужасные эскизы из тех, что им предлагаю я. Это плохо нарисованные малыши. Зубастые рахитичные существа. Наверное, они должны веселить настоящих детей. Наверное, они их веселят. А меня они злят. Я рисую их в последнюю очередь, почти с закрытыми глазами — просто чтобы папка с вариантами выглядела потолще. Но когда несу ее на обсуждение, выбирают именно их.

В кабинете без умолку звонит телефон. Еще один надрывается в ее кармане. Она достает его, близоруко изучает надписи на экране и прячет обратно.

— И главное, что говорить авторам? Ума не приложу.

— А художникам... иллюстраторам? — спрашиваю я. — Они, между прочим, тоже авторы.

— Ну, конечно-конечно. Но вы же все понимаете.

Я понимаю другое. Мне тридцать три, у меня ни разу не было персональной выставки, и я ненавижу развивающую литературу.

— Ну какая ты глупая, — говорили мне Бабичи. — Представь, когда Андрюша начнет читать...

— А сколько Андрюше? — спрашивал Вадик Кричевский.

— Четыре.

— А разве уже не пора?

— Ну нет. Он же маленький, — говорили Бабичи. — Представь, — продолжали они, — вот он возьмет свою первую книжку, а там твои рисунки. И мы с гордостью скажем ему, что это для него рисовала тетя...

— Бедный ребенок, — перебил их Вадик. — Вы что, подсунете ему этот хоррор? И кстати, на будущее: делайте что хотите, но чтобы никаких «дядя Вадик».

— Бабичи, вы зачем это купили?

— Мы же гордимся тобой, нам приятно, что здесь твое имя. Вот, — они открыли книгу с конца и по очереди погладили мою фамилию. — Подпиши. А второй экземпляр для Андрюши.

Редактор сидит за столом перед кипой бумаг и смотрит сквозь нее, и сквозь стол, и сквозь затертый паркет своего кабинета. Смотрит как человек, оставшийся без крыши над головой. Она похожа на Марью Степановну — нашу первую учительницу, которая на самом деле осталась без крыши над головой. И без земли под ногами. И все же, стоя на ней, точно на раскаленных угольках, она переваливалась с пяток на носки, с носков на пятки и затравленным шепотом гнала нас по домам. И это было жестоко, потому что место ребенка — на улице. Тем более, когда на ней полно гильз — и можно набивать ими карманы, а если встать пораньше, опередить в этом даже Вадика

Кричевского. А потом выменять их у него же на мячи для пинг-понга или коллекцию фантиков от «Турбо», или на крашеные зеленкой и йодом бараньи суставы — альчики. Но это на самый худой конец.

Я сижу напротив, смотрю на нее и завидую. Мне тоже хочется любить свою работу. Мне хочется бояться ее потерять. Мне хочется взять ее за руку, пожалеть ее и себя, оттого что все рушится. Но я ничего не чувствую. Я думаю о том, зачем они решили ехать на Искандеркуль. И даю ей конфету.

Она начинает кивать. Кивает и кивает, и берет конфету. Потом долго смотрит сквозь меня, и сквозь стену, и сквозь улицу. Потом снова на меня. Потом торжественно — как будто мне, а на самом деле себе — говорит:

— Я обязательно вам позвоню. Не вешайте нос, — встает и протягивает мне руку: — Вот увидите, мы еще поработаем вместе.

Это трогательно, сентиментально и очень пугающе. Это ужасная перспектива. Я жму ей руку и понимаю, что больше никогда сюда не приду.

Вечером позвонили Бабичи. Говорили они, как всегда, по громкой связи, перебивая друг друга. И это очень сбивало с толку.

— Ну как? Уже собираешься?

— Нет, — ответила я. — Вы что, серьезно туда поедете?

— Не вы, а мы. Ты разве не в курсе?

— Я в курсе, что вас потянуло к первоистокам. Но я никуда не хочу.

— Ну, во-первых, не нас, а Кричевского. А во-вторых, идея-то отличная. Только представь, какие там виды! Какие типажи! Тебе как художнику это должно быть интересно.

Вадик Кричевский все время чего-то искал. И, по-моему, никогда не находил.

Месяцами он жил в Европе и Америке, потом вдруг появлялся в Москве — обычно в то время, когда Зафар приезжал в отпуск. Мы встречались у Бабичей, наговаривались так, что нас начинало тошнить друг от друга, и снова разъезжались.

В апреле на чьем-то дне рождения он познакомился с женщиной. Тоже беженкой. Она узнала, откуда он родом, сказала, что хочет, да нет — мечтает найти отца. «Живого или мертвого», — сказал нам Вадик. Но видела сон, что он жив и живет где-то на Искандеркуле.

— Номер дома ей не приснился? — спросили Бабичи.

— Да нет, видела сон, что жив, а что на Искандеркуле — ей кто-то рассказал. Да в общем, вам не все равно?

Вадик пообещал ей, что найдет этого человека. И нужно ехать в Душанбе, а оттуда через Анзобский перевал — к Фанским горам, к Искандеркулю и Саратогу.

— Вадик, женись, — сказал ему Бабич.

— Не могу. Я анархист, а семья — это все же порядок.

— Ты кандидатскую защитил, — Бабич похлопала его по плечу. — К порядку тебе не привыкать.

— Это был подарок отцу, — засмеялся Вадик. — Я не помню оттуда ни слова.

— А что помнишь?

— Что перед ним я до сих пор ребенок.

В конце мая мы летим в Душанбе. Это хорошее время для любых направлений. Май — лучший месяц в году.

За день до отъезда я стучусь к соседу. Его зовут то ли Алексей Николаевич, то ли Николай Алексеевич. Я все время забываю порядок. Его имя записано на листке, приклеенном к зеркалу в моей прихожей, с пометкой «ирландский волкодав». Время от времени мы оказываем друг другу какие-то услуги: когда уезжает он, я гуляю с его собакой. Мне нравится, что люди иногда останавливаются шагах в десяти от меня и

кричат: «Это что за порода?» И я испытываю детскую гордость. Если бы такое происходило со мной в детстве, мне кажется, я выросла бы немного другим человеком.

Его зовут Штиль, и он хорошо ко мне относится. По-моему, это самая добрая порода на свете. С хозяином они на одно лицо. Иногда я вхожу в квартиру и говорю ему: «Привет, Николай Алексеевич!» — и мы идем гулять по Краснопролетарской. А иногда говорю: «До завтра, Алексей Николаевич!» А бывает, что завожу его домой после прогулки и говорю: «Подожди, я скоро вернусь». И он стоит и ждет. Я знаю, что ждет он Алексея Николаевича (или Николая Алексеевича), но выглядит так, будто ждет меня. И я возвращаюсь с альбомом и карандашами и рисую его с натуры.

Как натурщик он очень удобный, может часами лежать на одном месте. Размером с минихорса, но хлопот доставляет меньше, чем любая маленькая собачка.

У меня целый альбом его эскизов. Я показывала редактору — в детских книжках часто приходится рисовать собак. Даже придумала цикл историй про Штиля. Не очень поучительных, но очень интересных. В них Штиль был говорящим псом, и в каждой истории с ним что-то случалось. Но редактор сказала, что придумывать истории — это дело авторов, а мое — придумывать картинки. Штиля она забраковала. Сказала, что он неопрятный, и в нем нарушены какие-то пропорции.

Осенью я написала его маслом. У меня оставался большой холст, которому не нашлось применения. Я хотела подарить картину соседу, но ее увидел Вадик Кричевский, и до зимы я не знала покоя. Он звонил мне через день и каждый раз то просил, то требовал, то умолял продать картину ему. Я сказала, что не продам ни за какие деньги, потому что писала ее для соседа. Он сказал, что я ничего не понимаю в искусстве, потому что ничего не понимаю в жертве. Или наоборот. Еще сказал, что отец его безуспешно любит одну неприступную филологическую даму, которая держит сразу двух ирландцев, и если он подарит ей третьего, может, тогда... Я сказала, что это даже не ее собака, и написана она в интерьере чужой квартиры. А он сказал, что это неважно: все ирландские волкодавы на одно лицо, все интерьеры филологов тоже. Я сказала, что мой сосед не филолог, а пенсионер, а он ответил, что это тоже — одно и то же.

Я оставляю соседу ключи и прошу поливать цветы и навещать кошку. Ни кошки, ни цветов я не держу. Это просто наша общая присказка. Он спрашивает меня, куда я еду. Я говорю ему, куда.

— Сумасшедшие! — добродушно восклицает он. — Все едут оттуда, а вы — туда.

— Потому что я оттуда, — отвечаю я.

Но еду я не поэтому.

Еду я потому, что, если в жизни ты ноль, нужна какая-то авантюра, чтобы не впасть в депрессию. Это была моя формула выхода из тупика. Но заводила она в еще больший тупик. И тут мне понадобился Слава Иванович.

Он был цельный, заполненный снизу доверху человек. Заполненный тем, что у Платонова зовется веществом жизни. Мне нравилось разговаривать с ним и слушать, как в сентябре он с Надей и тремя детьми едет в Японию, а зимой — на Азорские острова. Весной — в Новую Зеландию, а летом к Тихому океану. На поезде. И всё впятером.

Разговаривая с ним, я начинала задавать себе вопросы — так он действовал на меня, и после этого ответы приходили сами собой. Наверное, потому что мы всегда общались на какой-то дистанции: мы были больше, чем просто знакомые, но никогда не были друзьями. Это то, чего мне всегда не хватало с Бабичами-неразлучными и с Вадиком Кричевским. Вся суть нашей дружбы сводилась примерно к следующему: я знаю тебя как облупленную, потому что знаю тебя с пяти лет; мы приехали из одной ГТ[1], и это то, что связывает нас до конца жизни.

---

[1] ГТ — горячая точка.

«И вообще, — сказали Бабичи после того, как мы не виделись больше полугода, — почитай-ка ты “Маленького принца” и больше не пропадай так надолго».

Но мне не нравится «Маленький принц». Точнее, нравится до того момента, пока не появляется Лис и не произносит то, что любят говорить мне Бабичи и еще двое-трое институтских друзей. Про то, что мы навсегда в ответе за всех, кого приручили. И если бы Лис замолчал после фразы «зорко одно лишь сердце», это была бы другая сказка. И я бы любила ее безо всяких «но». Но. Когда о них заговаривает Лис, во мне заговаривает какой-то голос и хочет убедить в том, что настоящая дружба и настоящее родство возможны только с самим собой. И почти убеждает.

— Депрессия — это ведь не плохое настроение, — говорит мне Слава Иванович. — Депрессия — это пустота. Это не выход, но это нормально, что вы хотите заполнить ее хотя бы таким способом. Все лучше, чем пить лекарства.

— Странно слышать такое от доктора, — говорю я.

— Хороший доктор видит чуть дальше.

Мы заходим в кондитерский магазин на Новокузнецкой и набираем по мешку весовых конфет. Десятки лотков, у которых нет ни продавцов, ни консультантов. Ни одного посредника между тобой и тем, чем ты наполняешь свою корзину. Мы проводим там не меньше часа, пока в глазах не начинает рябить от пестроты этикеток — синих балерин, красных маков, желтых верблюдов, розовых медведей — и голова не идет кругом от пряных кондитерских запахов.

На воздухе я понимаю, что мне не нужны эти конфеты. В каждой руке килограмма по два. А вечер так красив, и так осторожен неяркий свет фонарей, которые словно бы не решаются гореть в полную силу в долгих московских сумерках, что его сложно описывать. Мне проще было бы изобразить его красками, но я часто поступаю именно так, и вот уже вместо майских прогулок налегке — килограммы ненужных конфет, а вместо начатых и законченных картин — иллюстрации в детские книги.

В самолете Вадик спросил, не хотят ли Бабичи разлучиться на время полета. Ответ был очевиден, но Бабич-муж почему-то решил пояснить. Он сказал, что если самолет начнет падать, ему бы не хотелось терять драгоценное время, чтобы добраться до жены и взять ее за руку.

Бабичей мы поженили в шесть лет. Их посадили вместе, потому что... Я не помню, почему их посадили вместе. Но с тех пор они всегда вместе. Мы поняли, что и такое бывает, когда они поженились на самом деле. Когда Вадик услышал о свадьбе, он сказал, что они ненормальные, потому что нельзя столько лет подряд жить с одним и тем же человеком, но на свадьбу все-таки поехал. Я тоже поехала. И еще Зафар.

В аэропорту Душанбе мы берем бледно-зеленый опель. Зафар садится за руль, Вадик — рядом. Мы с Бабичами располагаемся сзади. Я сижу посередине из-за выступа, который помешал бы длинным ногам одного из них, и они равномерно говорят мне в оба уха. Мне тесно и жарко — и можно думать об этом, и о дороге по центру лобового стекла, и не думать о выставке друзей-одногруппников, в которой нет моих работ.

Вдоль всех дорог — огромные белоствольные деревья. Здесь их зовут чинарами, а не здесь — платанами. И это единственное, что осталось в памяти от того Душанбе, из которого мы бежали.

— Надо заехать в школу, — оживленно говорит Вадик Кричевский. Он вертится на сиденье, как уж на сковородке, и крутит головой по сторонам.

— Не надо, — говорит Зафар. — Дорога сложная, времени мало.

Вадик поворачивается к нам.

— По несчастью или к счастью, — говорит Бабич-муж.

— Истина проста, — вторит Бабич-жена.

— Никогда не возвращайся в прежние места, — говорит Вадик.

— Мы — за, — голосуют Бабичи.

— Я против, — твержу я.

— Даже если пепелище выглядит вполне? — спрашивает Вадик.

— Дорога сложная, времени мало, — говорит Зафар.

А Вадик говорит, что по закону города двое против трех — должны сами все понимать. Зафар говорит, что, во-первых, здесь, как и в большинстве стран, где он служил дипломатом, закон джунглей, а во-вторых, два голоса Бабичей равняются одному, и так как вырисовывается ничья, решает тот, кто за рулем.

Каждый из нас сменил четыре, а то и пять школ. После третьей я перестала запоминать учителей. Но Марью Степановну помню до сих пор. Несколько раз даже видела ее во сне. Высокую, худую, в больших очках в черепашьей оправе. Наверное, тогда ей было столько же, сколько сейчас нам. Но я не чувствую себя ее ровесницей. Как Вадик Кричевский видит себя ребенком рядом с отцом, так я до сих пор вижу себя ребенком рядом с ней. Я вижу, как она взбирается на подножку грузовика, заглядывает в кабину и спрашивает, успела ли я сдать книги.

Про войну мы поняли то, что и должны были понять. Война — это свобода. Война отменила рабство школы, она лишила нас принадлежности к сословию учеников. Мы все еще оставались детьми своим родителям и друзьями друг другу, но как сословие перестали существовать. И мы не знали, что с этим делать. И мы стали как пьяные.

Очень быстро одно рабство заменилось другим — нас заставили сидеть в квартирах. И трезвея в тишине комнат, мы хотели вернуть свое прошлое.

А потом все побежали. И когда уезжали первые машины с чемоданами и людьми, это было событием, а потом стало декорацией. И мы уже не успевали прощаться и записывать адреса. Мы стали не важны друг другу. Важными были только грузовики. И сколько свободных мест будет в ближайшем. И поедешь ты в кузове или в кабине.

Первым, как ни странно, уехал Зафар. Я помню, как мы прощались. Тогда еще люди свободно разгуливали по городу — это было самое начало всего. Но в каждом дне наступали какие-то особые часы затишья, когда все улицы рядом со школой принадлежали только нам.

Комендантского часа тогда и в помине не было, и даже слово «война» еще никто не произносил. Да и не было никакой войны — вот так, чтобы мы понимали, глядя на нее: это война, и она идет, как понимали, глядя на небо и землю: это небо, а это земля.

Ничего не шло. Мы спрашивали друг у друга, почему так тихо, и самый подкованный среди нас Вадик сказал: «Потому что одни воюют, а другие собирают вещи. А потом тех, кто воюет, убьют, и тогда все начнут разбирать вещи. А шумно станет, если опять разрешат школу».

У подъезда Зафара было много людей и несколько черных машин. Вещей на земле не было никаких, мы успели под самый конец. Зафар сидел на скамейке, спиной к нам, и Вадик бросил в него косточкой от урюка. И я помню, как он повернулся и улыбнулся. И минуту назад он сделал точно так же — повернулся и улыбнулся той самой улыбкой, и сказал Бабичам, что если бы мы никуда не уехали, они бы женились «вон в том ЗАГСе», а потом бы фотографировались «вон у того монумента Сомони»[1].

В тот же момент отец позвал Зафара, и мы по очереди обнялись. И мне бы хотелось вспомнить, что мы говорили друг другу. Обычно это были какие-то торопливые слова и обещания — мы много их произнесли потом, в первые недели массовых отъездов, но из нашего первого прощания я не помню ни слова. Я только помню, что Зафар стоял, будто виноватый, и ничего не говорил. Потом подошел отец и, положив

[1] Исмаил Самани *(тадж. Сомони)* из династии Саманидов — основатель первого таджикского государства.

ему руки на плечи, увел; и Вадик Кричевский, когда рассеялась пыль от министерской машины, сказал:

— Наверное, я буду следующим.

Но следующим был Бабич. И это было самое невыносимое для нее. Мы с Вадиком даже отошли подальше и сели под старый платан. Ему было лет двести, не меньше — до того он раздался вширь. Весь ствол его был в зарубках и надписях, и чтобы не мешать Бабичам, мы царапали на нем свои имена и имена Бабичей, и еще какую-то ерунду про вечную дружбу.

— Кто бы обо мне так плакал, — сказал Вадик и толкнул меня в бок. — Может, ты?

— Я уеду раньше, — ответила я. — Попроси Марью Степановну.

— Я книги не сдал. Мне лучше ей не попадаться.

Следующей уезжала будущая Бабич. Она была счастливая. Она была такая счастливая, что описать это было нельзя, на это нужно было смотреть. И Марья Степановна, провожая ее, сказала:

— Вот так и надо, Тамара. Вот так уезжают в новую жизнь.

Потом пришла моя очередь, но с Вадиком мы больше не виделись. В Душанбе объявили комендантский час, и мы все время сидели по домам. Я позвонила ему накануне, но никто не ответил, а на следующий день телефон перестал работать. И это было так же невыносимо, как видеть прощание Бабичей. Но мы вынесли все. И прожили свои десять с лишним, и встретились у них на свадьбе. С тех пор мы каждый раз встречаемся на их годовщину. И иногда мне кажется, что этот ритуал слишком затянулся. Что мы при них как атрибуты их прошлого, а они при нас как атрибуты нашего.

Наконец мы выезжаем из города, и все, что было забыто, сваливается на нас в одночасье. Дорога превращается в узкую полоску между синих и фиолетовых гор, машина идет тяжело, петляет по серпантину, поднимаясь все выше и выше. Радио захлебывается шипением, голос Вадика теряется в порывах ветра, и Бабичи, отстраняясь от меня, прилипают к окнам. Цветные ковры сменяются каменистыми скалами, шумно бегут сдавленные ущельем потоки, блестят ледники, рушатся водопады, мы заезжаем в тоннели и обгоняем звуки и солнце, оттуда выныриваем на свет, потом снова проваливаемся в темноту. От давления и высоты у нас закладывает уши, а от крутых поворотов и пропасти по обе стороны от дороги перехватывает дыхание. Вадик что-то кричит про ограждения и тычет пальцем в обрывы, затем вытаскивает из окна руку, и я смотрю, как ткань рубашки, соединенная вокруг его локтя невидимыми стежками, рвется, чтобы лететь, и летит на месте. Зафар смеется и держится за руль обеими руками, но смех его не слышен, и больше уже не слышен крик Вадика. Потом Бабичи обнимают меня с обеих сторон, и я засыпаю.

Сквозь сон до меня доносятся какие-то слова. Они звучат громче, когда мы заезжаем в тоннели, и пропадают, когда выезжаем наружу. В полузабытьи я вижу стада козлов и баранов, которые растекаются по дороге, как бурая лава. Они заглядывают в окна, отстраненно смотрят на нас и задевают друг друга рогами. По дальним горам, изрезанным серпантинами, осторожно плетутся грузовики. Размером они с небольших жуков — и это готовая иллюстрация к айтматовскому «Топольку в красной косынке». Меня болтает то вправо, то влево, и я слышу, как Зафар рассказывает про пустыню, что там, куда ни глянь, повсюду песок, и мне хочется сказать им, что здесь, куда ни глянь, повсюду Бабичи, и мне кажется это очень смешным, но я не могу пошевелить языком.

Я не знаю, сколько проходит времени, но ветер пропадает, и я слышу, как Вадик Кричевский говорит, что жизнь меньше смерти, потому что в слове «жизнь» пять букв, а в слове «смерть» шесть. А кто-то из Бабичей говорит, что мягкий знак не буква.

— Все равно. Он и там и там, — говорит Вадик.

— В английском так же, — говорит Зафар.

— Английский не в счет.

— И это я слышу от человека, который читает Шекспира в оригинале.

— Да, но плачу-то я от Гаршина.

Я уверена, что, услышав это, Зафар улыбается. Зафар никогда не ухмыляется, даже участвуя в споре. Особенно, если этот спор — с Вадиком.

— Да, я травлю в себе европейца Лесковым. Я не знаю, что значит быть русским до мозга костей, но когда мне исполнилось тридцать, я задохнулся в Европе. А ты? Разве в Фанских горах ты не чувствуешь себя дома?

— У дипломата нет дома, — говорит Зафар.

— Этим ты и слаб. А где твоя Персия, сынок? Сдал Горбачёв твою Персию американцам, шоб тусоваться красиво.

— Поехали, Балобанов, — смеются Бабичи.

Они спрашивают меня, хочу ли я в туалет, но я никуда не хочу и прошу их укрыть меня чем-нибудь. И они укрывают.

Снаружи Зафар разминает спину и ноги, рядом с ним Вадик, лицом к обрыву, жует какой-то цветок. Потом они садятся в машину, и мы снова едем.

Солнце полосками бегает по моему лицу, и полчища огненно-черных бабочек трепыхаются под закрытыми веками.

Я просыпаюсь в пустой машине и не вижу дороги. В лобовом стекле — крышка задранного капота и рваные клубы серого дыма. Рядом, на красном валуне, неровная надпись «Искандеркуль» со стрелкой вниз.

Я выбираюсь из машины на занемевших ногах, сажусь на валун и смотрю, как Вадик фотографирует Бабичей, а потом Зафара, потом Бабичи фотографируют их; потом они машут мне и кричат, чтобы я улыбалась, и я улыбаюсь, и сзади меня, далеко внизу, огромная голубая капля. И этот снимок, который дарят мне Бабичи в Москве, после того, как мы возвращаемся, ничего не передает. И я понимаю, почему я плохой художник. Сделать первый мазок для меня так же страшно, как склониться над бездной, где глубокое бирюзовое озеро — всего лишь неровная синяя капля.

Вечером Вадик спрашивает меня:

— В чем твоя проблема?

На озере холодно. И мы разводим костер прямо на берегу.

И я говорю, что в трусости. И говорю, что в сытости.

Бабичи соглашаются со мной. Они твердят, что трусость и сытость не дают сделаться художником по-настоящему.

И Вадик советует мне быть смелее, а Бабичи советуют переехать в Химки. Зафар ничего не советует, он дает мне печеную картошку.

— Мазок на холсте — это приведение будущего к знаменателю настоящего, — говорит Вадик. — Пока ты его не сделаешь, твое будущее никогда не наступит. И квартира тут ни при чем, — говорит он Бабичам, — это бред — верить в то, что художник должен быть голодным.

— Никто не должен быть голодным, — говорит Зафар и достает из костра еще несколько картофелин.

— За десять лет это первая годовщина нашей свадьбы, которую мы отмечаем не дома, — говорит Бабич-муж.

— Отмечаем почти впроголодь, — смеется Бабич-жена.

— Ну и хорошо, — говорит Вадик. — Пора бы перестать делать одно и то же. Я вообще не понимаю, как вы терпите друг друга столько лет?

— Мы не терпим, — говорит Бабич-жена и серьезно смотрит на Вадика.

Повисает пауза. Потом Кричевский говорит:

— И все-таки здесь каждый достоин медали за храбрость и долготерпение. Вам,

Бабичи, друг за друга. Зафару — за то, что он не раздвоенный. Он дипломат на службе и в жизни. Тебе, — он смотрит на меня, — за то, что ты упорно идешь к своей цели и доказываешь всем, что никакой ты не художник.

Я вздрагиваю и вижу, как Бабичи перестают жевать, а Зафар поднимает глаза и смотрит на Вадика. Бабичи бросаются на мою защиту:

— Ну, это уж слишком, — возмущаются они. — Зафар, скажи ему.

— А что такое? — Вадик пожимает плечами. — Она ведь любит отпираться, когда ей говорят, что она художник. — Тут он подделывает мой голос и интонацию, изображая, как я отпираюсь: «Ой, ну какой я художник?», «Ой, спасибо, конечно, но не такой уж я художник».

— Не смешно, Кричевский, — говорит Бабич-жена. — Какая муха тебя укусила?

Вадик сдавленно смеется, закидывает руки за голову и громко вздыхает.

— Ну почему, почему, почему у нас никому ничего не скажи? Если я не могу сказать своим друзьям, что думаю, кому вообще могу? Ну хочется мне говорить с вами так. Вот хочется — и все, нет — сразу «какая муха тебя укусила?» Да никто меня не кусал. Я просто сказал, что хотел.

Он встает и поворачивается лицом к озеру. Силуэт его черный и неподвижный, как ствол молодого облетевшего платана.

Бабич-муж укутывает жену и тоже встает. Зафар поворачивается к ним.

— Ты нас за этим сюда притащил? — спрашивает Бабич.

— Ну почему «притащил»? Я предложил, вы согласились. Сидим на природе, жарим картошку. Будет тепло, искупаемся в озере.

— А как же твой старик? — спрашивает Бабич-жена, высвобождая руки из-под одеяла.

— Старик? — Вадик скрещивает на груди руки. — А, да, старик... Да не было никакого старика. То есть был, а может, и есть, только где его будешь искать?

Она одергивает одеяло и тоже встает.

— Так ты что, нас всех обманул? И женщину ту обманул?

Вадик раздраженно вздыхает.

— Да никого я не обманывал. Ну выслушал грустный рассказ, ну проявил участие. Ну поверил в какого-то безумного старика.

— Ты женщину обманул. Никогда бы не подумала, что ты способен на такое.

— А ты подумай. И вообще, — он поворачивается к ней и смотрит на нее изучающе: — Откуда ты знаешь, на что я способен, да и знаешь ли ты меня вообще? Ты, кроме мужа своего и Андрюши, кого-нибудь знаешь?

— А знаешь, чего мне жалко, Кричевский? А жалко мне, что здесь, кроме картошки, ничего нет. Мне жалко знать, что ты трезвый и говоришь все это на самом деле.

Бабичи забирают одеяло и уходят в дом.

Какое-то время мы молчим. Громко трещит костер. На небе полно звезд. Какие-то из них яркие и одиночные, какие-то рассыпаны в виде крошек или сверкающей пыли.

— Расскажи про старика, — прошу я Вадика.

Он смотрит на меня, как будто ждет, что сейчас я скажу что-то еще, но больше я ничего не говорю, и он рассказывает.

— Жил-был человек по имени Фарух, и было у него шестеро детей. Пятеро были девочки, а шестым родился сын. Человек не боялся работы и любил свое государство. Государство любило его и давало ему работу. Работал человек много, чтобы семья его жила хорошо. Ну, тогда все и у всех было хорошо. А лучше всех было у того человека, потому что шестым у него родился сын. Он катал его на большой машине, на которой работал, и покупал ему маленькие, чтобы он играл ся.

Однажды он уехал на месяц и так заскучал по сыну, что, вернувшись из рейса, поехал не в гараж, а домой. Сын увидел его с балкона и закричал от радости. Человек

высунулся из кабины и помахал ему. Сын соскочил со стула и подбежал к матери, и мать сказала ему: «Беги, встречай!» Человек решил развернуть машину и начал сдавать назад как раз в тот момент, когда мальчик выбежал к нему.

Костер наш медленно гаснет, и у всего, что вокруг, появляется цвет. На черной глади озера дрожит лунная дорожка. У кромки воды — помертвевший и брошенный кем-то пучок оранжевых маков.

— Что было потом? — спрашиваю я.

— Потом был суд, и его оправдали. Потом был инсульт. Потом он лежал в больнице, потом вышел из больницы. Потом он ушел из дома. Вот, — Вадик достал из кармана фотографию, — его дочь дала. Тридцать три года назад. Сейчас ему около восьмидесяти, а может, девяносто.

— Ты думаешь, он жив?

— Она говорит, что жив.

— Ты пойдешь его искать? — спрашивает Зафар.

— Да где его искать? До Саратога километров десять. Это раз. А там он или не там — никто не знает. Это два.

— А зачем обещал?

— Это я вам сказал, что обещал. А ей я сказал, что поспрашиваю. Мне просто стало скучно. Везде. И я захотел приехать сюда.

Услышав это, Зафар встает, произносит «спокойной ночи» и уходит, не оглядываясь на Вадика.

— Спокойной ночи, — говорю я Вадику.

Зафар провожает меня до двери и обещает прийти на мою выставку. «Если она будет», — говорю я ему. И он уверяет, что, конечно, будет. Если я этого захочу.

Утром мы с Бабичами идем на водопад. Они спрашивают меня, как я спала, и я говорю, что замерзла, но спала как убитая. А Бабич-жена говорит, что и она спала как убитая, потому что вчера ее убил Вадик Кричевский.

Когда мы возвращаемся, Вадик и Зафар разговаривают с таксистом. Я говорю, что поеду с ними, и сажусь в машину. Вадик зовет и Бабичей, но они отказываются и идут дальше. А Вадик держится за открытую дверь и смотрит им вслед.

В Саратоге Зафар подзывает мальчика лет десяти и спрашивает его по-таджикски, где живет старейшина.

Мальчик провожает нас к его дому. Зафар спрашивает, как его зовут и ходит ли он в школу. Мальчик говорит, что он Исмаил и, конечно, он ходит в школу. Я не слышала этот язык двадцать три года, но помню эти слова, как будто только что получила свою последнюю тройку по таджикскому.

Зафар расстегивает ветровку, достает из внутреннего кармана черную металлическую ручку и дарит ему.

— Ну ты даешь, — смеется Вадик. — Такими ручками подписывают бумаги. В обшитых деревом кабинетах. Такими не пишут в кишлачных школах.

— А вдруг он вырастет и будет подписывать бумаги. Чего тебе не хватает, — говорит Зафар, — так это веры в человека.

— Это «Монблан»? — смеется Вадик: — Я просто не разглядел.

— А чего в тебе много — так это лишних знаний, — улыбается Зафар.

Старейшина сидит на скамейке, прислоненной к стене дома. Внешне он ничем не отличается от других местных стариков: ичиги, чапан, тюбетейка, пепельная борода. Он не спит, обе ладони его на ручке трости, будто он может подняться в любой момент, но глаза прикрыты, и по движению ткани видно, как глубоко и равномерно его дыхание.

Мы здороваемся с ним, и он рассматривает нас. Зафар переходит на таджикский, с полминуты они говорят. Потом старейшина поднимается, подходит к распахнутой двери — через нее видны тени от виноградника — и по одному пропускает нас во двор.

Двор тщательно выметен и полит, у летней кухни столпотворение молодых женщин. Пахнет жареным мясом. Вадик и Зафар уходят со старейшиной вглубь сада, я иду к женщинам и смотрю, как они готовят курутоб[1].

Курутоб мы готовили еще в начальной школе вместе с Лолой Рузиевной, учительницей по труду. Но это был цирк. Для настоящего курутоба у нас не было ни тандыра, ни деревянного блюда. Мы крошили купленную кем-то с вечера холодную лепешку в обыкновенную эмалированную тарелку, наспех обжаривали лук, размачивали высушенный творог, резали зелень, огурцы и помидоры, нарушали очередность, забывали про соль или добавляли ее слишком много, вместо сливочного или топленого масла нагревали подсолнечное, и если бы ученики Заратустры попробовали это блюдо — наверняка бы заплакали и выразились по-современному: мол, курутоб уже не тот. Но на этом столе все было так же, как сто, двести, а может, и тысячу лет назад.

Я сказала, что тоже хочу готовить, и попросила нож. Минут через пять принесли фатир — ту самую слоеную лепешку из тандыра, и резать овощи стало невмоготу. Девушки заулыбались, забрали у меня нож, отломили от фатира золотистый горячий ободок и вручили мне.

Старик был здесь.

Мы сидим на топчане вместе со старейшиной. Обед закончен, и женщины уже унесли посуду. На столе остались только лепешки, фрукты и чай.

Он идет мимо нас, старейшина не окликает его. Мы жадно смотрим на него: на это легкое, худое и подвижное тело. Длинные белые волосы истончились от старости, но все еще вьются на концах. Грудь его вогнута, но движения быстрые и нескованные. Бесшумно, как тень, он скользит между деревьев, то скрываясь в листве, то появляясь снова. Мы подаемся вперед, как завороженные. Мне очень хочется разглядеть его лицо. Вадик в нетерпении поворачивается к старейшине.

— И все-таки, он ваш друг? Что вы знаете о нем? Вы знаете, что случилось с его сыном?

Старейшина смотрит на Зафара, и на его лице появляется что-то вроде усмешки.

— У него есть семья, — продолжает Вадик. — Если это он, то у него есть семья. У него большая семья. Потому мы здесь. Это ведь страшно — умирать в одиночестве.

Старейшина говорит с акцентом. Но говорит свободно. Медленно, прикрывая глаза после каждой фразы. Будто дает себе передышку.

— Вадим, — говорит он, — я настолько старый, что ничего не боюсь и ничему не удивляюсь. Все, что я умею сейчас, — это радоваться каким-то пустякам, о которых ты даже не думаешь. Таким старикам, как мы, уже ничего не страшно. — Он стряхивает крошки с пальцев и поглаживает бороду. — Что я знаю о нем? Я ничего не знаю о нем. В таких местах, как эти, люди очень любопытны. Но теперь я вижу, что они везде любопытны.

— Вы знаете его настоящее имя?

— Я не знаю даже ненастоящее.

— Как же вы зовете его?

— Я зову его Одам. Это как по-вашему — Адам. А по-нашему — человек, душа.

— Его дочь сказала, что они жили в Ленинабаде. Как он оказался здесь?

— Я привез его сюда из пустыни. Из туркменских Каракумов.

— Что он там делал? Как попал туда?

— Он дошел туда пешком. Он там жил.

— Как?

Старейшина пожимает плечами и берется за трость.

---

[1] Курутоб — древнейшее блюдо таджикской кухни. Распространено также в Иране, Афганистане, Пакистане.

— Как мертвец. А может, как новорожденный.

Вадик и Зафар помогают ему подняться.

— Если он захочет говорить с вами — пусть говорит. Если не захочет — я не буду его просить. Он живет на заднем дворе. — Старейшина запахивает чапан и медленно идет к калитке.

Зафар останавливает Вадика и говорит, что пойдет сам. Вадик неохотно кивает, поднимается на топчан и ложится на подушки.

Минут через десять Зафар возвращается.

— Ну? — спрашивает Вадик.

— Ничего.

— Что ты сказал ему?

— Я спросил, как его зовут.

— Фарух?

— Он сказал, у него нет имени.

— Как он выглядит? Какое у него лицо?

— Я не знаю. Просто лицо. Равнодушное лицо старика.

— Надо показать ему фотографии, надо рассказать про семью.

— Не надо, Вадик, мы зря сюда пришли.

— Это же он, Зафар, я чувствую, что это он.

Глаза Вадика горят. Он достает фотографию и внимательно ее рассматривает.

— Да, здесь он совсем другой. Но ведь похож? Посмотри. Ведь похож? — он кладет ее перед Зафаром. — А эти, — он раскладывает на столе снимки детей и внуков, — может быть, кто-то похож на его сына. Представь, что будет, когда он увидит их.

— Ничего не будет.

— Покажем, Зафар, — просит Вадик. — Мы ведь не просто так его нашли. Тебе не кажется, что это все не просто так?

— Что ты делаешь, Вадик? Зачем? Что мы делаем здесь?

Он обводит нас усталым беззащитным взглядом. Я никогда не видела его таким. Впервые за всю жизнь мне кажется, что мы ничего не знаем друг о друге. Как будто дружим не с человеком, а со своим представлением о нем.

— Мы пришли сюда, как воры. Если его дети хотят видеть его — пусть приезжают сами. Ты прав, это он. Это именно тот человек. Я видел его глаза. Но я не задам ему ни единого вопроса. Больше ни одного. И я ухожу.

Вадик медленно стучит пальцами по столу, губы его сжаты, он смотрит, как Зафар спускается с топчана, надевает обувь и идет к воротам. Потом он сгребает фотографии и убирает их в карман.

Мы выходим на улицу.

— Все правильно, — говорит старейшина. — Человек грешит только телом, органами. Языком, руками, животом, печенью, ну и понятно, чем еще. Органами управляет мозг. Мозг в голове. Значит, грешит он этим, — он стучит по своей тюбетейке. — Душа остается в стороне. Душа человека чиста. — Он вдруг прищуривает глаз и весело подмигивает Вадику: — Ты как думаешь, а?

— Это вселяет в меня надежду, — мрачно говорит Вадик.

Потом старейшина подзывает какого-то парня, и мы едем назад. В машине мы молчим, а парень весело расспрашивает, откуда мы приехали, понравился ли нам Искандеркуль, и говорит, чтобы мы приезжали еще.

Вечером мы впятером сидим на берегу. Мы сидим в одну линию перед озером, как в летнем кинотеатре, как будто ожидая, когда начнется показ. Однажды мы сбежали с уроков и три сеанса подряд смотрели «Циклопа». Потом нас выгнали, мы выбрали себе по дереву — вокруг кинотеатра росли чинары — и посмотрели «Циклопа» в четвертый раз.

— Я домой хочу, — жалобно говорит Бабич-жена. — Андрюша, наверное, заскучал совсем.

— А я бы еще остался, — говорит Бабич-муж.

— И я, — говорит Вадик Кричевский.

Зафар говорит, что ему надо в Москву: от отпуска осталась неделя, и он много чего обещал детям.

— А ты? — спрашивает меня Вадик.

А я вспоминаю, что сказал мне Слава Иванович, и соглашаюсь с ним, что смена обстановки, конечно, лучше лекарств, но никакой это не выход. И вспоминаю издательство, и своего редактора, и беспорядок в шкафу, где я держу краски и кисти, и выставку, в которой я могла поучаствовать, но почему-то не участвовала, и сколько мне лет, и над чем я буду работать, когда прилечу. И буду ли.

Я вспоминаю, какие мы были сутки назад. Жизнь в больших городах сделала нас восприимчивыми к простым вещам. Видами из окна мы восторгались, как дети, а потом кончился асфальт, началась щебенка, сломалась машина, полтора часа мы спускались к озеру, заселялись в коттеджи, и трупами, без малейшего восторга, лежали на цветастых затертых одеялах, а потом, когда выбрались к озеру и увидели бирюзовую гладь, утонувшую в разноцветных холмах, а за ними — высокие синие горы, стояли как оглушенные, и все молчали, потому что никто не хотел говорить первым, чтобы не портить восторга звуками обыденных реплик. Но солнце уходило быстро, и вода из бирюзовой превращалась в зеленую, потом в синюю, потом в черную, и становилось темно, и очень быстро проходил восторг, как очень быстро проходит голод, когда набрасываешься на еду сразу и без разбору сметаешь все.

Я больше не хочу каждый год собираться на годовщину Бабичей. Я даже не уверена, смогу ли поддерживать нашу дружбу до конца жизни.

Сзади меня раздается шорох, я поворачиваюсь и вижу рыжего волкодава. Он пригибает голову и виляет коротким обрубком. В нескольких шагах от него, высунув пятнистый язык, сидит второй.

Как все, оказывается, просто устроено. Звезды. Под ними пустая кошара. Вокруг горы. Повсюду трава. В траве — незлые бесхвостые волкодавы. Они не похожи на тех зверей, которые в войну нападали на чабанов и объедали их до самых сапог, бросая их стоять с ногами вместо колышек. Таких историй я слышала сотни. Людям нравятся страшные истории.

Я чешу волкодаву между ушей, он ластится и припадает к земле. На холке у него подсохшая рана, и мухи, дождавшись безветрия, одолевают ее, как малую родину.

Мне нечем ее обработать, и я тихонько поливаю ее водой. Волкодав замирает и долго стоит, не шелохнувшись. Он знает, что человек приносит ему добро, а мухи — зло. И он выбирает человека.

Не знаю, что мы хотели увидеть здесь. Кого хотели найти. Может, удачные кадры для фотографий. Может, себя. Ведь откуда-то мы все начались.

Фаруха я стараюсь не вспоминать. Мне больше нравится вспоминать волкодавов.

Я не знаю, что творится у него в голове и какое воспоминание приходит к нему чаще других. Видит ли он сына, которого перемалывает задними колесами.

Я вижу эту картину очень хорошо, потому что... я ведь художник, я многое вижу. Но я не узнаю на ней Фаруха. За рулем того грузовика сидит другой человек, он не похож на старика, мелькавшего среди деревьев в доме старейшины.

Я представляю, какая бы картина вышла из этого. Вижу Фаруха в пустыне. Маленькую точку в черной бесконечности. Белую, желтую, красную. Какую? Какого цвета должна быть эта точка? Желтой, как солнце? Белой, как луна? Красной, как кровь? Я не знаю. Я не вижу цвет. Но я слышу.

Я слышу, как он кричит, и пустыня слушает его и не хочет принять.

И мне кажется, я почти уверена, что никогда не возьмусь за эту картину.

Сад

Рассказ

Субботнее майское утро на остекленной веранде было лучшим временем для тихого безмятежного сна двух стариков. Они дремали так многие субботы многих месяцев, кроме зимних, когда веранда стояла нетопленой, а все цветы из нее заносили внутрь дома.

Первый старик был черный ворчливый скотч-терьер Хазар, чьи брови, борода и усы не собирались белеть даже к старости; второй — хозяин дома, но так выходило только по документам, а на деле — муж хозяйки дома, давно облысевший фронтовик Сева. Он получил это имя на радужной улице Оренбурга, куда семилетним мальчиком прикатил на арбе из Казани, где звали его Сабитом; его же он называл на Втором Украинском фронте, где времени на дружбу было немного, и потому короткие, понятные большинству имена были не причудой, а скорее, необходимостью.

Через умытые вчерашней грозой окошки веранды Севе открывался мир, где раньше не было ничего, а позже — не за шесть, конечно, дней, а за четверть жизни — появился сад, по которому впервые пошел человек; за ним — другой, третий, а за теми тремя — четвертый и пятый с шестым, а за ними — поколения пожарников, носорогов, махаонов, кузнечиков, саранчи и тех, кто питался ими вперемешку с травой и возвращал Севе плоды его творчества в виде яиц, мяса и молока. И в разных уголках этого сада Сева играл со светом и тенью, высаживая персики, абрикосы и яблони так, чтобы кроме пользы от них была и красота, потому что за пользу в их доме всегда было кому отвечать — Сева на такой женился, а за красоту нужно было бороться самому; особенно теперь, когда жизнь его почти перестала держаться телом, а держалась духом, изнемогавшим, если эта красота от него ускользала.

А она все время от него ускользала. И в первый раз это случилось в груженой арбе, когда младшая жена отца, любившая Севу как брата, держала над ним покрывало от лупившего града и дождя и кричала, чтобы он не оборачивался, потому что сзади уже ничего не осталось. Но сама продолжала смотреть. И Сева, не понимая, слезы ли бегут по ее щекам или это дождь, тоже обернулся и увидел, как быстро загорается дом, и как причудливо меняются ставни и балкончики голубого мезонина, и как бегут по резным наличникам геометрические фигуры, и как опадают желтые солнца, и как вместо того чтобы улететь, молитвенно складывают крылья красно-зеленые птицы, и диковинно сохнут цветы, и как все это плавится и превращается в трусливых змеек и бежит, убегает по гладким изразцам, и последнее уже — перед тем как навсегда повернуться вперед — увидел, как лопаются эти изразцы, и могучие деревянные балки, словно стреноженные великаны, клонятся к земле.

Попав на войну, Сева узнавал этих великанов в горящих самоходках и танках. Они ревели и скрежетали, как могут реветь только звери исполинских размеров, а после стояли робкие и обугленные, стыдливо курясь на больших необжитых пространствах земли, лицом к лицу с некогда могучими «тиграми», «пантерами» и «фердинандами», с которыми невольно роднились теперь, одинаково утратив красоту и превратясь в неподвижные железные остовы.

Края большого участка Сева подбил цветниками. С высоты невысокого облака они смотрелись словно пестрое кружево вокруг зелено-бурой материи сада, и по весне, лету и осени сменяли друг друга, вспыхивая, будто сигнальные огни, и показывая Севе и тому, кто мог бы сидеть на облаке, что всему есть начало, но ничему нет конца.

Привыкнув к жизни без охоты, Хазар спал крепко, лежа на боку, вытянув мохнатые черные лапы, точно это не он, а хозяин должен был стеречь его старческий сон. Теперь из него исчезли и слежка, и погони, и узкие норы с верткими лисицами и свирепыми барсуками, и, судя по тому, как покойно вздымалось его короткое тело, Хазар припал во сне к материнской груди, и эта грудь была для него целой Вселенной.

Галя зашла на веранду за ножницами, посмотрела на Хазара и невольно улыбнулась.

— Вот дармоед. Хоть бы ухом повел.

Сева тоже улыбнулся, но глаз открывать не стал.

— Не шуми. Мне нравится, как он дышит во сне.

Она взяла с подоконника ножницы, открыла дверцу комода и достала несколько целлофановых пакетов.

— Лекарство выпьешь в обед, с горшком особо не тяни. Пока закончу, не меньше часа пройдет. Может, созреешь?

Сева махнул скрюченной рукой, как будто прогоняя жену за границу его с Хазаром идиллии. Обвисшая кожа на руке колыхнулась белой дряблой тканью, обильно посыпанной гречкой.

Сева не стеснялся жены — теперь это было бы глупо. Его тяготила только жгучая тоска, крутившая внутренности, как мясорубка, когда он понимал, что больше не хозяин себе. Он вспоминал однокашника по техникуму: однажды утром, зайдя за ним перед учебой, тот громко и мучительно выдохнул, будто внезапно познал очевидность, долгое время бывшую у него под носом: «Ну всё! Влюбился!» И в лицах и деталях поведал предысторию — с номером автобуса и цветом глаз, и всем, на что хватило его возбужденного красноречия. А следующим утром так же громко и мучительно выдохнул: «Какая к черту любовь!» И в тех же лицах, но уже без деталей, а сухо и сдержанно, с брезгливым каким-то и виноватым выражением рассказал, как подошла сама и сама же спросила, где здесь поблизости туалет. Сева хохотал до слез, а теперь, поглядывая на кованый Галин сундук с чистой белой материей и деньгами на поминальные обеды, подумал, какой глупый смешной болван его канувший в неизвестность однокашник и какая недооцененная роскошь — ходить в туалет самому. Самому подняться с кресла, самому отрегулировать скорость шага, самому зажечь свет, потянуть дверь, закрыть ее на задвижку — ведь задвижка в туалетной двери для того и придумана, чтобы охранять этот сакральный момент от чужого вмешательства, — самому снять штаны, самому опуститься на стульчак.

Галя разоряла цветник с расчетливостью вора, отбирая только самое ценное, но суетясь при этом, как оса, забравшаяся в пчелиный улей пировать на чужом. Сева молча буравил взглядом ее спину через открытую дверь. Гале казалось, что он нарочно вздыхает, чтобы вызвать в ней чувство вины. Но никакой вины она не испытывала. А чего было в ней много — так это разочарования от всего, что не несло какой-либо пользы. «Поцвели и отцвели. Теперь что? Трупы». — «Но ведь красиво», — говорил Сева. «Но ведь недолго», — говорила Галя. «В этом-то и фокус. В миге», — говорил Сева. «Когда бы этот миг окупался», — говорила Галя, лязгая ножницами.

И Сева терпел, когда цветы срезались по стеблям: в конце концов, его пожизненное лекарство стоит недешево; да, помогают дети, но помогают набегами, когда есть что оторвать от себя. А у Гали действительно жилка. И когда цветы срезались по стеблям, он сидел и помалкивал, шевеля языком внутри плотно сомкнутого рта. Но когда она сказала, что один постоянный покупатель выпросил у нее луковичные вместе с луковицами — его любимые зеленоцветные тюльпаны, которые он развел по своей же оплошности, приняв их за тюльпаны Рембрандта, — Сева застонал в голос, представив, как следующей весной в эту самую дверь с этой самой веранды ему будет не на что любоваться. Может, Хазар к тому времени и отлетит в свой собачий рай, а сам он уходить не собирался. Благодаря каменному непослушному сухому телу он чувствовал себя укорененным на этой земле — и Бог его знает, сколько придется рубить, чтобы прогнать его в темноту, в бесцветие, в ничто.

— Не сметь! — закричал Сева, вцепившись в ручку кресла одной рукой, а вторую протянув вперед карающим жестом и подавшись за ней всем корпусом. — Не сметь трогать луковичные!

— Сева... твой сад... это обуза, — спокойно и даже как-то вдохновенно сказала жена, словно ее водрузили на театральную сцену читать прощальный монолог из

бенефиса известной, но надоевшей всем актрисы. — Просто возьми и признай это раз и навсегда. Для таких, как мы, это обуза. В нем давно ничего нет. Хорошо, я выносливая, — она пригладила смуглыми кистями накинутый поверх платья садовый халат и припечатала их к бедрам, — я сажаю картошку, сажаю огурцы, помидоры, лук, Сева, чеснок. Я поднимаю из семян врагов цинги. Зелень, Сева, клубнику, малину — природный аспирин. Это все можно есть. Это все нужно пищеварению. Так человек устроен, Сева. Человек должен есть. А цветы, Сева, несъедобны. Но я умудряюсь делать съедобными даже их — посмотри, — она распахнула перед ним холодильник, — были цветы, без пяти минут трупы, — стали продукты.

Сева упрямо отвернулся к окну.

— В нашем саду, — Галя перегородила ему окно, — давно никто не живет. Посмотри правде в лицо, Сева. Ты сидишь дома и ничего не видишь. Ты же не знаешь, что вообще происходит в мире. В нашем огороде... Хорошо, ты зовешь его сад — пусть будет сад. В нашем саду, кроме тли, четырех блохастых кур и колорадских жуков, жрущих мою картошку, — никого. Да, и еще бродячих котов, которые ходят под носом у твоего Хазара и ни во что его не ставят. Они же смеются над ним, Сева! Тебе не обидно? И ему хоть бы что. Когда он последний раз лаял? Эти звуки, которые он из себя выжимает... Да я не знаю — бормотание одно.

— Это порода такая: без дела не лает.

— Да брось! Он охотник, он пес, он создан, чтобы лаять, — она подняла правую руку и, сжав ее в кулак, оставила только указательный палец, потрясая им в воздухе. — В сарае я заряжаю мышеловку три раза в неделю, а это, между прочим, его работа. Он по этим делам диссертацию защитил.

— Галя, оставь. Он слишком стар, он заслужил.

— Он стар, ты стар, я стара. Но я савраска по призванию. И я в отличие от вас что-то делаю, — она вдруг прикусила губу и метнула на Севу виноватый взгляд.

Сева прикрыл глаза и покачал головой.

— Ладно, — сдалась Галя, как бы извиняя саму себя. — На горшок не хочешь?

— Отстань от меня, наконец! — вспыхнул Сева. — И перестань называть это горшком! Я чувствую себя инвалидом!

Галя повела плечами.

— Сева, ну ты и есть инвалид. У тебя Паркинсон.

Она сошла с веранды, смочила тряпку, вполсилы выжала ее и расстелила на земле. Сева тогда наблюдал за ней не только глазами. Он вращал, поднимал и опускал голову, следя за каждым ее движением. Вот она метко воткнула лопату в землю, продолжая при этом смотреть на Севу, как бы показывая ему: все это лишь часть распорядка дня, всего лишь обыкновенные садовые ритуалы, и она занимается ими ежедневно с марта по октябрь, с тех пор как ее попросили на пенсию. Вот перехватила руками черенок, чуть выше того места, где он почти раскололся надвое, но Галя вовремя его реанимировала, потому что всему вещественному в жизни давала второй, и третий, и четвертый шанс. Вот отвернулась от него и ногой, обутой в галошу, вогнала лопату в землю и с этого момента уже не поворачивалась, потому что работа пошла ювелирная — нельзя было повредить луковицы. Вот выкопала подряд тринадцать тюльпанов — Сева вел счет каждому — и на каждом ждал, что она остановится, про себя почти умоляя ее об этом. Вот присела на корточки и завозилась с тряпкой, а когда встала над ней, тюльпаны лежали, как расстрелянные тела, попадавшие на землю в ненатуральных позах. Наконец она накрыла их другой тряпкой, аккуратно сложила в пластмассовое ведерко и повернулась к мужу.

— И я как врач отношусь к этим моментам без эмоций. Я романтик, только когда читаю Пушкина. А в остальные минуты я человек, понимающий, что жизнь — это не Лукоморье, не поэма, Сева. Это одна сплошная физиология.

Сева тогда ощутил, как внутри него все обмякло и больше не способно сопротивляться. А в животе у него зашевелилась та самая физиология, и он сказал:

— Галя, давай на горшок.

Попросился он и теперь. Она уже нарезала букеты бледно-розовых пионов и бинтовала их мокрой тряпкой, с которой капало прямо на порог веранды.

Когда Галя вернула мужа на место и прикрыла ему колени вязаной шалью, Хазар прижал бородатый подбородок к груди, выгнул спину, напряженно потянул лапы и открыл глаза. Сева свесился с кресла и коснулся его живота. Хазар перекатился на спину, задрал лапы и широко зевнул.

— Всего только восемь, а такая жара, — Галя цокнула и отошла от градусника. — Повянут, пока донесу.

— Ты смотри, много не нагружайся.

Она потянулась, повращала руками и с сонным наслаждением выдохнула:

— А скинуть бы лет двадцать, а? Сесть бы в машину, поехать на дачу, забыть про все эти тяпки, лопатки. К чертовой матери забыть и плюхнуться на раскладушку в теньке с Моруа. Читать да мечтать под щебет над головой. И ведь он такой громкий, а спать совсем не мешает.

— Кто?

— Щебет.

— Ну-у, размечталась, — улыбнулся Сева.

— Да, а потом насобирать бы клубники, малины, крыжовника и плюхнуться в бассейн. Я вот думаю: и чего я раньше этого не делала? Все какие-то сорняки выискивала, ветки подрезала. Вишня эта бесконечная для варенья, пастила, помидоры соленые... А соль, она вон — вся в остеохондроз пошла, — Галя похлопала себя по загривку. — Иной раз головой шевельнуть не могу. Ой... Это же какое удовольствие — подплываешь на спине к бортику, протягиваешь руку, нащупываешь ягоду, раскусываешь ее... Ой... Отталкиваешься ногами и плывешь дальше. Точнее не плывешь, дрейфуешь даже.

— Врешь. Ничего бы ты такого не делала, а торчала бы на грядках с утра до ночи и нас за безделье материла.

— Клянусь бы, не торчала. Вот клянусь!

— Ладно, сейчас-то чего говорить. На заднице весь ум и остался.

Галя подошла к зеркалу, повертела перед ним головой, по очереди разглядывая то правую, то левую половину лица, потом улыбнулась своему отражению и сказала:

— Ой, Сева, ты прав. Ничего бы я такого не делала. Махала бы тяпкой и вас бы гоняла, — она повернулась к нему и скрестила руки. — И правильно делала, что гоняла. Вот ни на грамм ни о чем не жалею.

— Ну теперь я спокоен. Я уже слишком стар, чтоб узнавать тебя заново.

Галя заглянула в сумку.

— Ключи здесь, кошелек здесь, сетка здесь. До двух выдержишь?

Он кивнул.

— Калитку не запирай.

— Сева, она не придет.

— Но ты не запирай.

Лили не было с февраля. Сева знал, почему, или думал, что знал, но отказаться от ожидания сейчас, после стольких суббот, когда она росла на его глазах и донимала его вопросами, он не был готов. Пустот в его жизни становилось все больше, а материала, чтобы их заполнять, не осталось совсем.

Сева уже приучился смотреть на большой и нелепый ангар вместо вырубленной половины сада как на что-то, из этого же сада проросшее. В конце концов, не он ли давал разрешение сыну — отчаянному горемыке, проболтавшемуся полжизни в делах и авантюрах, в коих не то что не смыслил, а даже и удачлив-то не был, но убедившему, заставившему поверить, что из биологов тоже вырастают дельцы, и что семь-восемь спиленных плодоносов — невеликая цена за собственный строительный склад собственных же стройматериалов. Не он ли сидел, разинув рот, и слушал, как сын, схватившись за голову и весь раскрасневшись, почти кричал, что никогда-никогда бы не стал поступать на биолога, если бы вовремя проявил характер... Но что нет,

конечно, он не винит отца, но и жить, исполняя его мечту, он не хочет, не будет, да и не сможет. И что если отец не позволит — никакой обиды между ними не будет. Он по-прежнему останется сыном, а тот — отцом. Только пусть бы отец задумался, пусть бы на секунду, мимолетом допустил мысль: как может разворачиваться жизнь у воплотившего собственную мечту, как развернулась бы жизнь отца, если бы после фронта он пошел не на свинцовый зарабатывать деньги в придачу к этой ужасной неизлечимой болезни, а поступал бы, как и хотел, на биофак? И Сева тогда не то чтобы задумался — он думал об этом всю жизнь, и никакой америки от сына не услышал, — но как-то осекся, обмяк, ибо время подходило к обеду, и на столе его ждала таблетка, возвращавшая ему жизнь на каких-то пять часов в день, и этих часов с каждым днем становилось все меньше и меньше. И когда все закончится... что ему будет от этих деревьев? В особенно тяжелые дни он тоже хотел стать деревом, на которое нашелся бы свой дровосек. И теперь, когда налетал ветер и заброшенный склад хлопал отошедшей металлической крышей, потому что у сына в очередной раз ничего не вышло, Севе казалось, что это у него ничего не вышло.

Лиле было одиннадцать. Она была дочкой и сестрой, но никогда не была внучкой. Сева без труда мог бы вспомнить ее деда сидящим у персика в этом саду, где раньше стояла беседка и лето напролет резались в домино; и Лилину бабку в Галиной кухне, в переднике Гали, обсыпанную Галиной мукой, ее громкий барабанный смех и даже ямочки на щеках, с какими всегда мечтал заполучить жену, но вовремя такой не встретил. И он вспоминал.

До внучки они оба не дожили и ушли задолго до того, как Севу скрючило пополам, а отца Хазара задрали шакалы. Дружба же с Лилей завязалась недавно и, скрепившись тумаками, как детской клятвой дружить до гроба, перешла не то в любовь, не то в родство, не то во все сразу.

Все его внуки были старше и жили далеко. Лиля была его внучкой четыре года и девять месяцев.

На преступление против детства Севу подбил Хазар. Сева дремал над раскрытой газетой, когда тот влетел в комнату и с лаем уперся в его колени. Он оттолкнул его ногой, сложил газету, укутался пледом и приготовился спать дальше. Хазар подбежал к окну, потом снова повернулся к Севе и залаял еще звонче. Окно выходило к воротам, над которыми свисал многолетний густой виноградник, растревоженный каким-то движением. Сева опустил голову и притворился спящим, но Хазар, выскочив из комнаты, пронесся по коридору, выбежал в сад, обогнул дом и, подпрыгивая на коротких ногах, будто на пружинах, загалдел под самым виноградником. Сева выругался, отбросил плед, подошел к окну, пригнул голову и выглянул наружу. Зеленая виноградная шевелюра ходила ходуном. Сева схватил костыль, прислоненный к стене, и, ни секунды не раздумывая, злобно метнул его вверх. Костыль пролетел сквозь листву, уперся во что-то твердое и сшиб это твердое на землю. Наступила тишина, и Сева, потерев от удовольствия руки, вернулся в кресло, укрыл остывшие ноги и снова задремал.

Вечером Галя проронила за ужином, что муж ее — тот еще меценат. Отрастил зелень, на которой пасутся все уличные дети от пяти до двенадцати лет, и травиться не травятся — плоды-то без селитры, — а с заборов падают и кости ломают.

Сева побледнел и застыл над тарелкой. Галя жевала с аппетитом и бойко рассуждала, какое теперь замечательное время: нет, не то чтобы богатое — денег как не хватало, так и не будет хватать, хотя на похороны им хватит, уж об этом она печется, — но чтоб расстреливать или в ссылку за украденный колосок — ну даже не верится, что все это было в их детстве. А про девочку ей Залевская рассказала — и не просто рассказала, а даже как будто порадовалась, потому что у нее пообрывали всю черешню. Но Боженька, мол, все видит и на каждый дармовой хлебушек у него запрятана мышеловка. «А я ей говорю, это что у тебя за Боженька такой особенный, мстительный и блюстительный?»

— Сева, ты в рок веришь?

— Что?

— Ну, в фатум. Или в наказание? Два месяца в гипсе за виноград — это наказание? Ты знаешь, Сева, я в жизни ни во что, кроме себя, не верила, но то ли старею, то ли глупею, а вот думаю об этом, хоть тресни. Но опять же, наказание взрослому вору одно, а ребенок — разве он вор? Два месяца в гипсе за виноград — по-моему, это слишком. Вот мне лично приятней думать, что с заборов падают, потому что руки не из того места растут — просто-напросто держаться нужно крепче, — а не потому, что кто-то кого-то за что-то наказал.

Галя перестала жевать и посмотрела на Севу. Он уставился в одну точку, и в руке его тряслась пустая ложка. Потом он сказал:

— Галя. Я угробил ребенка.

— Дурак. Ты угробишь меня, если скажешь такое еще раз.

Она увидела его беззащитную лысую голову и вдруг подумала, что если бы кто-то посягнул на его спокойствие, если бы родители девочки пришли ругаться за дочь, — она бы встала на его защиту, как на защиту собственного ребенка, и грудью закрыла бы его хоть от целой улицы, хоть от целой армии.

Но они не пришли.

Их не было ни тем вечером, ни на следующее утро. Прошел еще один день. Сева выпил таблетку, Паркинсон отступил, он выпрямился и, заложив руки за спину, нервно зашагал по залу. Галя сидела на диване и всякий раз, когда Сева проходил мимо, дергала шеей, пытаясь разглядеть, что происходит в телевизоре. Сева периодически задавал вопросы, как будто бы самому себе, и Галя, не отрываясь от телевизора, подавала какие-то звуки. В конце концов он встал напротив нее и спросил:

— Галя, разве это возможно, чтобы гипс наложили на два месяца? Разве накладывают не на месяц?

Галя вытянула шею вправо, но в той части телевизора показывали пустой кусок парка, и она вытянула влево, где растрепанная женщина с ножом в руке и с ужасом в глазах выглядывала из-за дерева. Играла тревожная музыка.

— Разве обычно не на месяц? — повторил Сева.

— На месяц, — машинально ответила она.

— Откуда ты знаешь?

— Ну-у... — она продолжала тянуть шею и смотреть в экран. — Потому что она ребенок, Сева, а у детей бешеная регенерация.

— Тогда почему на два?

— Наверное, какой-то сложный оскольчатый перелом.

Сева издал глухой стон.

— Ни за что себе не прощу! Наверное, там страшный, ужасный перелом, иначе бы наложили только на месяц. И месяц-то долго! А тут целых два!

Тревожная музыка в телевизоре стала еще тревожней. Галя затаила дыхание и перестала моргать.

— Галя, — позвал ее Сева.

— И хорошо, — отозвалась она, покусывая губы и не сводя глаз с экрана. — Успеет подготовиться к школе. Ты знаешь, что в школу теперь поступают как в институт. Только через экзамены. А тут ты со своим костылем, — она прыснула и посмотрела на Севу.

На его лице по очереди отразились беспомощность, разочарование и гнев — и это так ее подстегнуло, что она зажала себе рот ладонью, и теперь хохот звучал как частое истерическое сморкание.

— Ребенок! — затрясся он в гневе, выставив вперед оба кулака. — Ты знаешь, что такое лето для ребенка?

— Еще как! Девяносто два трудодня без возможности отлынить! Абдулов, да уйди ты от телевизора! Что ты хочешь от меня? Они наверняка даже не знают, что какой-то полоумный старик запустил в их ребенка костылем. Они думают, упала сама! Да и листьев там — во! — она раскинула руки, демонстрируя количество. — Я так думаю,

что Лилька и сама не знает, отчего она шмякнулась. Костыль-то остался по эту сторону забора, а свалилась она — по ту! Всё! Уйди!

На какое-то мгновение лицо Севы разгладилось, и он почти улыбнулся, потом вдруг снова насупился и почти вскричал:

— Дура! Ты думаешь, я из-за страха? По-твоему, кто я, Галя? Ты думаешь, я боюсь, что мне влетит? Сколько, по-твоему, мне лет? Я человека покалечил, Галя! Ребенка!

— Покалечил, Сева. Всё. Нет тебе прощения. И если ад есть — гореть тебе в аду. А теперь дай мне посмотреть фильм.

— Хорошо, но завтра отведи меня к ним.

Галя оторвалась от телевизора и уставилась на него круглыми глазами.

— Совсем спятил? Ты из дома третий год не выходишь.

— Пойдем, как подействует таблетка.

— Не выдумывай. Бред несусветный.

— Тогда я сам пойду, — тихо сказал он и сел в кресло.

Галя порывисто встала с дивана, подошла к телевизору, постояла перед ним с минуту и вышла из комнаты. Сева услышал, как заскрипели дверцы шкафа, как хлопнула входная дверь и как она громко скомандовала Хазару: «Дома!»

Когда она вернулась, лекарство уже перестало действовать, и Сева сидел в своем обычном виде — скрюченный, трясущийся и молчаливый.

— Ну все, — живо сказала она, вынимая серьги из ушей, — мосты наведены, поводов для беспокойства нет. Залевская эта — старая сплетница. Надо было сразу к ним сходить. Гипс как гипс. Нога, конечно, сломана, но не так уж там все и страшно. Может, через месяц и снимут. А может, и раньше. Девчонка у них веселая и очень своим ранением гордится. Они там пляшут вокруг нее как заведенные. Ты меня слушаешь?

Сева кивнул, не поднимая головы.

— Я сказала ей, как только снимут, — сразу к нам. У нас и собака, и дед, и сад. Короче, наобещала ей кучу всего, — она присела на обод кресла и положила руку на его плечо. — Ну как? Молодец у тебя жена?

Он слабо улыбнулся, поднял трясущуюся кисть, и Галя вложила в нее свою.

Через два месяца Лиля пришла к ним за цветами, чтобы отнести их учительнице на первое сентября. А через три — стала бывать каждую субботу.

В обед Сева выпивал таблетку, и у них было несколько часов для дружбы. Лиля рассказывала ему, как ей не нравится ходить в школу и какие там дурацкие правила; Сева отвечал, что нет ничего более дурацкого, чем сидеть дома, и что в школу он бы пошел хоть сейчас. Лиля говорила, что ему это только кажется, и требовала историй.

Историй было много, но самые любимые были про черную кошку и про то, как Сева держал медведя. Ни одна из них Севе не нравилась, и больше всего он жалел, что по глупости или желая вызвать в ней интерес, рассказал про черную кошку, расстрелянную им на войне после того, как она перебежала ему дорогу. Не рассказал он только про Костю Нагибайло, который после кошки все донимал его смехом: «А коли баба с пустыми ведрами, ты и ее?!», а следующим утром Костю накрыло снарядом так, что Сева увидел, как тот распадается на маленькие кусочки и стремится вначале вверх и в стороны, а потом ударяется в стены окопа и опадает на каску, плечи и сапоги Севы, и Сева, контуженый, падает и зажимает уши, а в них — далеко-далеко, как из тоннеля, — Костин смех.

В феврале, когда он видел ее в последний раз, она пришла раньше обычного. Галя была на рынке, Хазар лежал на веранде, Сева дремал в кресле, клонясь все ниже и ниже. Бубнил телевизор. Лиля прокралась в комнату, закрыла ладошками его глаза и громко сказала:

— Сева, покажи пулю, я тебе трикошку помогу закатать.

Сева вздрогнул. Ему показалось, словно его рывком вытянули из мягкой прожорливой трясины.

— Трикошку я и сам закатаю, — сказал он хриплым голосом и попытался откашляться. Потом медленно откинулся назад и снова прикрыл веки. — Ты сегодня рано.

Лиля молчала.

— Ты еще здесь?

— Конечно. Жду, когда пулю покажешь.

— Покажу, дождемся, пока лекарство подействует.

— Сколько еще?

— Полчаса. Может, меньше.

Она протянула руку к его голове.

— Сева, почему у тебя на лысине нет морщин?

— Не знаю. Не там постарел, где надо. У меня лысина как у младенца, — он разлепил один глаз и потер его указательным пальцем.

— Дай потрогаю.

— Трогай, — Сева наклонил к ней голову.

— Теперь пулю.

— Пули там нет.

— Мне почему-то нравится думать, что она там.

— Мне сейчас не согнуться.

— Я сама.

— Далась тебе эта рана. Сколько раз показывал.

— Давно показывал, может, ее уже нет.

— Куда ж она денется, вот, — он попытался наклониться, но на лице появилась такая мучительная гримаса, что Лиля остановила его руками и мягко оттолкнула назад. Потом в три оборота подняла левую штанину, пока на белой худой голени не показалась небольшая ямка, напоминающая воронку.

— Потрогаю? — спросила она восторженно.

— Трогай, — улыбнулся он.

Лиля надавила на воронку два раза, вернула штанину на место, подтянула ему носок и села рядом.

— Знаешь, как я раньше про тебя думала? Ну, почему ты заболел?

— Раньше — это когда?

— В детстве. Год или два назад. Я думала, ты заболел, потому что людей убивал. Ты людей убивал, и Бог тебя наказал.

— Сама додумалась или услышала от кого?

— Сама. Думаешь, брехня?

Сева открыл глаза. Лекарство начало действовать, тело понемногу оживало, в руках и ногах появилась приятная тяжесть.

— Я об этом никогда не думаю. Война была, на войне не надо было думать.

— Ну вот, а ты не веришь, что школа — самое дурацкое место на свете.

— При чем здесь школа?

— В школе нам только и делают, что говорят про думать, — она надела его очки, спустила их на нос и, изменив голос, изобразила учительницу: — «Вы должны научиться думать... человек вырос из обезьяны, потому что научился думать».

— Что ж вас до сих пор по Дарвину учат? — улыбнулся Сева.

Лиля сняла очки, подошла к зеркалу и показала себе язык.

— По какому Дарвину?

— Что человек произошел от обезьяны.

— Это нам классная говорит. Она ведет у нас природоведение, а у старших — биологию. Она без конца говорит про своих животных. А нам иногда говорит так: «Не будьте неразумными животными», — Лиля повернулась к нему. — А ты тоже думаешь, что мы произошли от обезьян?

— Нет, я давно так не думаю.

Она подошла к телефону, сняла трубку и послушала гудки.

— А я думаю, что в школе надо все поменять. Надо устроить выборы учителей. Ну чтобы нас учили только те, которых мы сами выбрали.

— Это кто ж вас такой демократии учит? — удивился Сева.

— А никто, — Лиля залезла на стул, а оттуда села на крышку пианино. — Это же просто, как дважды два. Например, мы выбираем старосту класса, выбираем президента школы, почему же нельзя выбирать учителей? Например, за эту учительницу по биологии я бы ни за что не голосовала. Сказать, почему?

— Почему?

— Она сказала, что история с медведем — липа. Она сказала, что я ее выдумала и что такого не бывает. «Не бывает, — говорит, — чтобы медведь жил с человеком в обычном доме». При всем классе сказала.

— А ты что?

— Сказала, что бывает. Что у меня дома как раз и жил.

Сева усмехнулся.

— Но это же неправда.

— Почему неправда? Он ведь жил у тебя, а это практически у меня.

— Все равно неправда. У тебя он не жил, и ты нехорошо поступила, что соврала.

— Но она сказала, что это неправда, что это вообще ни за что не возможно.

— И она не права, и ты.

Лиля прикусила нижнюю губу и уставилась в пол.

— Из-за нее все подумали, что я обманщица. Я должна была доказать!

— Пришла бы ко мне, я бы дал тебе фотографию, где медведь сидит за столом вот в этом саду. Тогда она бы точно тебе поверила.

Лиля спрыгнула на пол и радостно крикнула:

— Покажи!

Сева поднялся с кресла и быстрым шагом прошел в кабинет, где хранились его книги про животных и растения, фотоальбомы с охоты и путешествий. Он собирал их до болезни, старательно подклеивая и подписывая каждый снимок. На стенах висели рога архара и марала, а на высоких полках стояли чучела болотной совы и степной пустельги.

Сева с гордостью оглядел комнату и пропустил Лилю вперед. Он деловито походил из стороны в сторону, делая вид, что вспоминает, в каком из шкафов лежат фотографии, хотя прекрасно помнил — в каком, но ощущение легких конечностей и присутствие человека, заинтересованного в нем, кружили Севе голову и отметали всякое желание смотреть на часы.

— Вот он!

Он выдернул из кипы альбомов тот, что искал, сел на диван, вынул из кармана очки и начал листать. Лиля взобралась на спинку дивана и обняла его за шею, рассматривая фотографии.

Наконец она увидела большой черно-белый снимок, запечатлевший настоящего бурого медведя в окружении людей. Он сидел за накрытым столом, запрокинув голову и приоткрыв рот, словно только что произнес тост, от которого сам же пришел в восторг.

— Это ты! — Лиля показала на молодого Севу. Он стоял слева от медведя и смотрел прямо на Лилю. Кудрявый, прямой, в вышиванке с закатанными рукавами. — А это тетя Галя.

Она сидела боком к камере, уперев в руку подбородок и улыбаясь мальчику на противоположном конце стола.

Сева провел рукой по изображению жены — она была полная, длинноволосая и очень задумчивая. Севе нравилось снимать ее профиль: линия спины плавно переходила в линию шеи и заканчивалась упругой черной шишкой, схваченной невидимками на затылке.

— Какие вы молодые, — протянула Лиля.

Сева закрыл альбом и посмотрел на часы.

В саду надрывно верещали индийские скворцы, вовлекая в свою ругань других птиц. Хазар поднял голову, лениво повел ушами и посмотрел на хозяина. На веранде стало припекать. Сева схватился за приделанный к стене ремень и с третьей попытки вытянул себя из кресла. Время таблетки еще не пришло. Медленно передвигая ноги и почти не отрывая их от пола, он с трудом одолел коридор, дошел до зала и опустился в кресло.

Несколько раз он пытался подняться, чтобы подойти к окну и послушать: не топчется ли кто-то возле ворот. Галя упрямая, и калитку могла запереть — с нее станется. Но подняться так и не смог и, тяжело вздохнув, подумал: правильно ли поступил с Лилей. Два месяца назад он был уверен, что правильно. А теперь чувствовал себя таким же беспомощным и растерянным, как в тот день, когда, спотыкаясь в мерзлой грязи, упрямо нес на руках журналистку ташкентской газеты «Правда Востока». И тот же Костя Нагибайло с обожженным лицом кричал ему в самое ухо, глядя на ее развороченный живот: «Брось, померла!» — и тянул его вниз к земле, прикрывая оголенную голову лопатой. Но Сева не бросил.

В санчасти их разделили. Когда из голени доставали пулю, он, не стесняясь, плакал, а Костя Нагибайло сказал: «Сева, я стал поэтом. Слушай: Ни одну не люблю я женщину, потому что люблю войну. На войне можно вдоволь наплакаться, здесь не принят вопрос “почему”». Севе стихи не понравились, но Косте он сказал, что понравились.

Сквозь сон он вспоминал, что еще было в тот день. Вот он захлопнул фотоальбом, посмотрел на время, вот Лиля царапнула ноготком обложку и, все так же сидя у него за спиной, спросила, что если сейчас позвонит ее классная, не мог бы он сказать, что она пропускала уроки по уважительной причине.

Сева не понял ничего.

Лиля замешкалась, встала с дивана и неестественно уверенным голосом сказала:

— Понимаешь, меня не было две недели. Если сегодня позвонит моя классная, скажи ей, что я пропускала, потому что ухаживала за тобой.

— Это как? — недоумевая, спросил Сева.

Лиля принялась обкусывать губы.

— Ну я же уже объяснила, — нетерпеливо сказала она. В ее тоненьком голосе прозвучало женское раздражение.

Сева помотал головой.

— Я все равно ничего не понял.

Лиля повысила голос и отчеканила каждое слово:

— Если сегодня позвонит моя классная и спросит, как твое здоровье, и потом спросит, когда я приду в школу, скажи ей, пожалуйста, что приду в понедельник, а может, во вторник. Но главное, скажи так, чтобы она поняла, что ты в курсе всего.

— В курсе чего? Почему она позвонит сегодня, и почему сюда, и почему две недели?

Сева почувствовал себя дураком, провалившимся в трясину. Обычно она появлялась, когда он засыпал в ожидании таблетки, и исчезала, когда он бодрствовал, приняв ее. Теперь все стало с ног на голову. Он был бодр, таблетка работала не больше часа, но он увязал все глубже и глубже.

Лиля посмотрела на него со злостью.

— Сева, ты же мне друг?

Севе захотелось сказать, что Костя Нагибайло был его друг. И еще был его друг Лёша Трубников. И Анвар Шарипов. И еще журналистка из ташкентской газеты «Правда Востока», рассказавшая ему про биофак и МГУ. И никто из них ни разу не спрашивал, друг он им или нет. И он тоже не спрашивал. Он только писал в обтрепанной тетрадке, которую таскал за пазухой: «Вчера, 25 февраля, умер мой друг Костя Нагибайло. Сегодня, 3 марта, умерла мой друг, фотокорреспондент ташкентской газеты “Правда Востока”. Сегодня, 10 ноября, умер мой друг Анвар Шарипов и ранен мой друг Лёша Трубников. Сегодня, 11 ноября, умер мой друг Лёша Трубников...»

Тетрадка закончилась раньше, чем война, но он таскал ее до последнего, как щит, а когда все закончилось, открыл, чтобы перечитать. Но ничего нельзя было перечитать. Все изорвалось и стерлось. Остались только плохие Костины стихи. Но их Сева помнил и так.

— Ну что ты молчишь? Она ведь может позвонить в любой момент, — Лиля дергала его за рукав и поджимала губы, стараясь не заплакать. — Ты скажешь?

— Разве я такой калека?

Лицо ее от корней волос до острого подбородка медленно заливалось краской. Колени были сжаты. Она сидела, опустив голову и комкая подол вязаного платья.

Раздался телефонный звонок. Они встали с дивана одновременно. Сева смотрел в сторону, Лиля смотрела на Севу. Потом они пошли. В коридоре Лиля обогнала Севу и заглянула ему в лицо. Сева не смотрел на нее. Она взяла его за руку, но его пальцы остались безучастны. Она посторонилась, чтобы он вошел в зал первым, а потом обогнала его снова и снова заглянула в лицо. И снова он не смотрел на нее. Она хотела взять его за руку, но он протянул ее за трубкой. Она сделала шаг назад и спряталась за его спину, будто учительница могла разглядеть ее из телефона.

— Да, — сказал Сева. — И вам здравствуйте. Да. Я дедушка. Хорошо. А должно быть нехорошо? Ну а кто не болеет в старости? Старость и есть болезнь. Нет, кто вам такое сказал? А почему вы звоните мне? Вам лучше позвонить ее родителям. Нет, совсем не тут. Точнее, не здесь. Я ничего об этом не знаю. Вы ведь учительница, вы и должны быть в курсе. Я не учу, я только призываю вас думать. Человек вырос из обезьяны, потому что научился думать. И вам того же. До свидания.

Сева повесил трубку, чувствуя, как Лиля проделывает взглядом дырки в его спине. Но Лиля смотрела в пол, и руки ее свисали с плеч, как отслужившие свое бельевые веревки.

Сева вдруг почувствовал голод и какое-то запоздалое озарение и сказал наигранно веселым голосом: «А по-моему, пора бы и пообедать!»

Но это прозвучало жалко. Лиля молча развернулась и медленно побрела из комнаты.

Галя потеребила его за плечо, и он очнулся.

— Который час? — спросил Сева.

— Три, — от Гали пахло уличной жарой и пылью. — Сегодня была толкотня. Умаялась, — она села на диван и запрокинула голову. — На следующей неделе закончу с картошкой и в июне возьмусь за побелку. То ли свет здесь такой, то ли потолок действительно серый. Ты помнишь «Букинист» на углу с базаром? Договорилась насчет Диккенса. Двадцать четыре тома. Потом отнесу Шамякина. Надо быстрей разгружать, стеллажи на ладан дышат. К июню перетаскаю все. А может, Гришку Залевского попросить? И может, еще Зверева и фантастику...

— Зверева оставь.

Она сползла вниз, потянула ноги и с напряжением повращала ступнями.

— Пять минут — и ставлю обед. Ты, конечно, не ел?

— Ты калитку не запирала?

— Нет... кажется, нет... Не помню.

После обеда Сева выпил таблетку и, переждав положенное время, вышел в сад. Галя выскочила следом и накинула на него пуховый платок. Сесть в саду было негде. Стол, за которым пировал медведь, и скамейки к нему Галя пристроила соседям.

Сад был молод и стар одновременно. А Сева был стар. И Сева понял, что конца нет у сада и у земли, а у него есть. И ему захотелось попробовать, как это — быть с землей наедине. И узнать, куда все уходит и откуда не возвращается. И хорошо было представлять Костю Нагибайло и всех остальных, и даже смешило, что плохое забывается быстро, а плохие стихи — никогда. И он подумал, что когда был молодой, много сидел на земле. И знал, как она везде одинаково пахнет — и в саду, и в окопе на Втором Украинском.

И ему захотелось посидеть. Времени у него было немного — пока Галя не заметит и не поднимет крик. И он быстро сел, ничего не постелив, чтобы между ним и землей не было никакой преграды. Как не было ее между ней и небом.

И сев, он обхватил руками колени и закрыл глаза.

И детские руки обвили его.

Враждебность

Рассказ

О том, что мир не враждебный, Исаев узнал не сразу. Он был уверен: враждебный — с самого первого столкновения с чужаком по крови, когда, еще лежа в колыбели, не то почувствовал, не то поймал зрачком недобрый взгляд соседки, родившей мертвеца — одногодку Исаева.

Зрачок Исаева сохранил эту враждебность как отпечаток, и когда Исаева перенесли из колыбели на пол, и когда он впервые встал на неуверенные слабые ноги и понес свое тело по дому, уткнувшись в ту же соседку, которая, истосковавшись по материнству, стала за ним присматривать.

Исаева тогда качнуло, и он схватился за ее крепкую голень, а позже, подхваченный ее рукой и поднятый с узорчатого ковра, ткнулся уже ей в лицо.

Она отвела его от себя и стала рассматривать. Исаев, подвешенный в воздухе, рассматривал ее, цепляясь руками за пахнущий кашей воздух и взглядом — за сверлившие его глаза.

Исаев не выдержал этого взгляда и заорал. Мать, пришедшая на крик, думала, что Исаеву больно в подмышках или в намятых кистями соседки младенческих боках, и, терпеливо улыбаясь, просила его опустить.

Но Исаев плакал от другой боли. Он заболел душой от взгляда соседки, и все, что можно было прочитать по ее лицу, прочитал правильно. Неопытная первородка-мать не поняла сына, и он заплакал еще сильнее оттого, что по-другому не умел попросить у нее защиты от этой враждебности.

И пойдя в сад, видел в других ту же враждебность: и в усатой нянечке — неумной моложавой тетке, и в детях, уложенных на раскладушки по бокам от него. И когда, освободившись от сада, пошел в школу, — мир становился все шире, все больше, все грандиознее. И те же размеры приобретала его враждебность.

В первый класс его вел отец, и этим Исаев особенно гордился, потому что других вели матери, а третьих — матери матерей. И это было для Исаева тем более ужасно.

Мать матери Исаева упала с инсультом в то время, когда он впервые произнес «я», и долго некрасиво умирала потом, когда он, закрепившись в понимании собственной личности, произносил «я» сотни раз в день.

Исаев иногда оставался с ней один, когда соседка, вымолив для себя новое материнство, родила живого и забыла Исаева, и пугался глухой трескучей тишины дома. Спасаясь от нее, он прибивался к постели бабушки в поисках ласковых женских звуков, но вместо них слышал шипение невидимого монстра, которого поселил под кроватью и которого до судорог боялся, спуская ноги на пол, перед тем как в ночь бежать по нужде.

С отцом Исаев познал много нежности и доброй уже тишины на природе, приучившись ее любить.

Они уезжали за триста километров от дома, где, по мнению Исаева, кончались люди и начинались животные; оставляли машину у егерской сторожки и долго бродили по заповеднику, чтобы увидеть кого-нибудь с шерстью. Когда Исаев уставал, отец сажал его на плечи, и сверху Исаев видел маленькую жизнь пауков, ящериц и скорпионов и чувствовал себя в безопасности. За отца он не боялся тоже, потому что

у отца было ружье и высокие сапоги, а боялся только за фокстерьера, ходившего по земле голыми лапами.

Новой враждебностью для Исаева стал отчим, которого мать просила называть «отец»; но Исаев твердо держался за память о тишине на природе и ни разу не обратился к отчиму этим словом даже машинально.

И когда класс стал разбиваться на группы, подобно тем, что составляются в индийских джунглях и африканских саваннах, то есть разделился на хищников и травоядных, Исаев поначалу метался между ними, а потом перестал, потому что все они были враждебны его миропониманию. И был тому яркий пример, когда лет в двенадцать он мог донести на курящих за туалетом, но не донес, а решил примкнуть к ним и развернуть эту враждебность от себя. И когда покурил и понял, что ему не нравится, и когда не курил и был с теми, кто имел копыта, а не клыки, решил, что враждебность никуда не уходит; что у тех, кто имеет копыта, она может быть в разы больше оттого, что они трусят.

Так продолжалось до тех пор, пока Исаев не влюбился.

Влюбился Исаев поздно. Где-то на отметке между десятым и одиннадцатым классом. То есть почти перед самым окончанием школы.

К тому времени у Исаева были уже братья и сестры, и мать давно потеряла с Исаевым связь, так что он не пытался узнать у нее, как именно нужно ухаживать за женщинами.

Отчим давно сгинул из их квартиры в соседний подъезд, но когда возвращался с вахты, часто встречался Исаеву и кивал. Исаев не вспоминал его добрым словом, но и злым не вспоминал. Он вспоминал драку на лестнице в младшем звене, когда по какому-то чудовищному случаю с пролета третьего этажа упал на покатые ступени его одноклассник и сломал позвоночник.

Исаев тогда не дрался, он шел мимо, и его просили определиться, на чьей он стороне. Исаев сказал, что ни на чьей, и его толкнули. На перилах лицом друг к другу сидели двое. Это была завершающая фаза после драки, в которой не машут кулаками, а играют в «крепкую птичку».

«Раз ни на чьей, тогда на удачу», — сказал кто-то, и Исаев ткнулся ногами в холодные балясины, а корпусом — в синий пиджак.

Ночью Исаев не спал и ждал, что за ним придут. Отчим сказал, что если он не перестанет ныть, то обязательно придут и уведут.

На следующий день пришел милиционер и спросил Исаева. Исаев услышал материнский голос и посмотрел в окно с декабрьским солнцем. Деревьев из окна видно не было, так что не было видно и снега, и Исаев подумал, что это мог быть какой угодно месяц: и сентябрь, и март, и апрель. В сентябре он бы придумал, как не пойти в эту школу, а пойти в другую, и ничего могло бы не быть. Но теперь был декабрь, и в дверях стоял милиционер, и Исаев ждал, что его уведут.

Исаев замер и почувствовал одиночество. Он услышал, как за стенкой разучивали гаммы и фальшивили через раз, а на улице скребли по асфальту лопатами. Ему хотелось оказаться трехлетним, когда враждебности было немного, и только хрипы старухи и монстр под кроватью пугали его по-настоящему.

Он собрал со стола ручки, карандаши и линейки и поставил их в стакан; закрыл учебники с тетрадями и стопкой сложил на краю.

Тогда мать позвала его.

Исаев прошел половину комнаты и остановился. Она позвала снова. Он прошел вторую половину, обернулся к окну и понял, что это не мог быть апрель, потому что в апреле нечего соскребать с асфальта.

Глядя на ковер под ногами, он очутился в прихожей и спрятался за матерью. Мать повторила милиционеру версию Исаева, и тот сказал, что будет разбираться. Исаев ушел в комнату и решил, что ему не верят и надо ждать.

Его перевели в другую школу, но ходить туда надо было через улицу поломанного

мальчика, и Исаев каждый день ждал, что в хорошую погоду его выкатят под липы дышать воздухом и смотреть на солнце.

К окончанию школы в классе Исаева начались перемены. Движений изнутри было больше, чем извне, потому что физмат был враждебен многим; но кое-кто приходил и извне, чтобы бороться с гуманитариями на вступительных.

Исаев давно сидел один и теперь почувствовал, как ему неуютно, притиснутому к батарее. Новенькую определили к Исаеву, потому что ее мать просила выделить дочери спокойного сидельца, и Исаев вновь оказался избранным поневоле. Он думал, что враждебность не существует сама по себе, а исходит от людей, как электричество от источника, но противиться соседке не стал: она была тихая и пахла лавандой.

С месяц Исаев терпел, а потом спросил — почему. Соседка вынула из рюкзака тугие мешочки, а из пособия по электродинамике — закладки из сушеной лаванды.

После вечерних факультативов по физике и тригонометрии Исаев провожал соседку до дома, представляя фиолетовые поля, какие бывают во Франции. Он думал, что объясниться с соседкой на фоне лавандовых волн было бы легче, чем в угольных сумерках улиц, — они кончались прежде, чем он успевал объяснить ей волновую теорию света, — но Франция была далеко, и он входил внутрь дома, продолжая собирать для нее картину науки, которую она не понимала. Внутри стояла тишина и пахло сушеными травами. Исаев постепенно смолкал, садился за стол и вспоминал отца и рыжие уши старого фокстерьера в испепеленной солнцем траве.

Соседка ставила перед Исаевым варенье, масло и хлеб и заливала кипятком какие-то травы. Потом разливала отвар по чашкам и одну уносила матери, которую Исаев видел редко и еще реже слышал, — как будто двигалась в пространстве только ее тень, а сама она все время пряталась в комнате.

Свет Исаев любил больше, чем тьму, потому что днем он мог заниматься физикой или играть с близнецами, похожими на отчима, когда они хмурились, и на мать — когда улыбались. Ночью Исаев вспоминал свое детство и видел по очереди всех, о ком многого не понимал, но многое помнил. И иногда, проваливаясь в сон, отбивался от рук и голосов, которые спрашивали у него, на чьей он стороне, и обещали, что во всем разберутся.

Исаева томило, что в доме с лавандой не любили света и держали шторы закрытыми. Томило, что никакого результата его дополнительные занятия не приносили, а делали даже хуже: соседка писала плохие контрольные, а иногда, не шелохнувшись, сидела над листком с фамилией до самого звонка и не просила помощи.

С месяц Исаев терпел, а потом спросил — почему. Соседка заплакала и сказала, что закрытые шторы — от материной мигрени, а пустые листки — от ненависти к физмату. И Исаев, не разобравшись, любовь это или жалость, поцеловал ее в губы и по тому, как сжалось его сердце на обратном пути, определил, что любовь и есть жалость, какой не было у отчима к матери, но какая была у его отца и к нему, и к заболевшему фокстерьеру, и, наверное, ко всем остальным существам.

И Исаев решил быть как отец и не быть как отчим, чтобы не плодить враждебность самому, а использовать закон Ома из электротехники, уменьшая напряжение и увеличивая сопротивление.

Выбрав себе роль, Исаев стал счастливым и перестал думать о враждебности. Единственное, чего он по-прежнему не понимал: зачем питаться от источника, к которому не испытываешь любви? И не откладывая на потом, спросил ее — почему. Соседка сказала про родственника-декана и что только поэтому был выбран физфак, но говорить об этом лучше тише, потому что с приступом у матери случается крик, и его невозможно вынести, если не убежать. Исаев испытал еще больше жалости и решил жениться после первого курса, чтобы ей было куда убежать.

Синие зимние и зеленые весенние вечера проходили одинаково: Исаев сидел в плетеном кресле-качалке, окутанный запахом сушеных соцветий. Отрываясь от книг, он смотрел, как она смешивала блеклые травы, измельчая их в царапаной ступке

деревянным пестиком, и чувствовал себя звездочетом в кабинете алхимика. Она всегда садилась напротив, так что их разделял только вытянутый журнальный столик, и каждый вечер он начинал с фразы, продавленной шариковой ручкой на сгибе столешницы: «Муфта, Полботинка, Моховая Борода и я едем путешествовать».

Для лаванды она шила сиреневые мешочки и, видя хрупкие сиреневые цветки, он заранее знал, что не высидит долго и скоро начнет засыпать. Просыпался Исаев, укрытый шкуркой каракуля, далеко за полночь, но домой не спешил и к книгам уже не притрагивался, а мысленно торопил время, чтобы поскорее оказаться на первом курсе.

Враждебность вернулась к Исаеву внезапно, когда он отвык от нее настолько, что беспамятно улыбался даже соседке, родившей когда-то мертвеца. Соседка была теперь постаревшая многодетная мать; она по-прежнему сверлила Исаева взглядом, не отпуская его как напоминание.

На выпускных класс переживал особенную дружбу — такая случается с теми, кто находится в общей связке. Лица учителей и проверяющих из комиссии были строгие и обреченные, как у людей без надежды. Учителя ходили по рядам и украдкой подсказывали решения. Комиссия украдкой злилась, но открыто не возражала, потому что только в совокупности была без пола и без души, а по отдельности состояла из людей.

Документы в университет они сдали вместе, и Исаев познакомил ее с близнецами, которые теперь постоянно ждали, когда припадут к ней, как к большому цветущему лугу, чтобы вдыхать запахи.

На вступительных Исаев не волновался ни за себя, ни за нее, помня о том, что у него были знания, а у нее — декан-родственник. Он закончил раньше других и вышел на улицу хозяином жизни. Соседка вышла последней, и Исаев повел ее домой, держа за руку. Весь путь Исаев молчал, ощущая трепет после окончания чего-то большого и перед началом чего-то необъятного, и только улыбался.

Соседка поставила чайник, раздернула шторы и побежала в комнату к матери. Мать посидела с ними немного, а потом вытолкала их наружу — в густые запахи лета.

Они покружили по городу и вышли на школьный маршрут Исаева, где возле калитки под липами сидел поломанный мальчик и смотрел на вечернее солнце. Исаев потянул ее на себя, а она потянула Исаева и оказалась сильней. Через минуту он стоял перед коляской с прежним пониманием жизни, ощущая, насколько оно привычно и близко ему и насколько от него неотделимо.

Соседка представила Исаева как Исаева, а поломанного мальчика — как двоюродного брата и сына родственника-декана. Исаев и мальчик узнали друг друга, но сделали вид, что не узнали.

Исаев проводил ее до дома и попросил сиреневый мешочек от бессонницы. На следующий день он забрал документы из университета и осенью ушел в армию.

Вернувшись, он понял, что теперь в нем достаточно сил, чтобы сопротивляться враждебности дальше, и поступил на военного инженера. Близнецы все еще были детьми и потому не имели памяти. Они так же любили играть с Исаевым, но забыли про девушку с запахом цветочного луга. Исаев потерял лавандовый мешочек во время службы, но хорошо помнил его запах и, мучимый бессонницей, легко воскрешал его в голове.

За годы учебы Исаев сдался только раз и пошел к дому поломанного мальчика, чтобы увидеть его издалека, а потом и вблизи; но вместо лип были вкопаны подрощенные ели, а вместо мальчика стоял пластмассовый истукан и опирался на табличку «Частный детсад».

Исаеву понравилось чувство утраты напряжения, и он пошел прямиком на физфак, чтобы проверить себя и кое-какие факты. Одноклассники Исаева доучивались в небольшом количестве, потому что для некоторых ученье оказалось тьмой, а неученье — если не светом, то покоем. Девушка с лавандой успокоилась в браке после первого курса и оставила учебу.

Услышав это, Исаев почувствовал шевеление внутри, какое случалось, когда он был не согласен с собой. Он отмотал назад, взял девушку с лавандой за руку и пошел с ней по другой дороге, где им не мог встретиться поломанный мальчик. Потом приблизил осень двухгодичной давности, сделал себя студентом физфака, сдал две сессии и женился. Ему удалось обойти свадьбу, потому что было не время для лишних хлопот, но не удалось обойти родственника-декана: тот все равно оказывался в курсе, так что встреча с поломанным мальчиком была неизбежна, даже если путь к нему удлинялся.

Исаев понял, что нужно отмотать еще и не идти по коридору, где была драка и много маленьких дураков. Эти дураки были телами, наделенными импульсами, потому что любое тело в природе имеет импульс, даже если находится в покое. В момент, когда Исаева толкнули, он был телом, находящимся в покое, и потому не сопротивлялся, а стал проводником чужого импульса. И так как импульс тела измерялся массой, помноженной на скорость, и так как толкнувший был больше Исаева, а Исаев был больше толкаемого... — тут Исаев остановился и перевел дух. Он подумал, что, наверное, вот так люди и сходят с ума, потому что сопротивляются данности, как он, испугавшись прошлого, или, как поломанный мальчик, испугавшись падения, и решил, что враждебность рождает напряжение, а напряжение — поломку ума или тела; и потому кошки, летящие вниз, так редко остаются калеками и еще реже бьются в лепешку.

Из окон факультета Исаев смотрел на рукодельный палисадник, по которому сновали студенты и кошки, хоть это запрещалось табличкой письменно и завхозом устно. Жизнь внизу представлялась плоской и безвредной, как пауки и скорпионы рядом с массивными сапогами отца.

Исаев понял, что пауки и скорпионы бессильны перед сапогом отца, кошка — перед студентом, студент — перед факультетом, факультет — перед метеоритом, метеорит — перед земной корой, земная кора — перед землетрясением. Потом он понял, что и человек может быть бессилен перед скорпионом и перед кошкой, а может оказаться сильней и тридцатиэтажного дома, и даже земной коры. И это то, что Исаеву нравилось в его специальности, и то, что пугало его в ней.

Ночью Исаев увидел себя во младенчестве на руках соседки, родившей мертвеца, и вспомнил свой первый страх. Утром он подумал, что в Земле есть ядро, во Вселенной — Бог, и нет никакой другой абсолютной силы. Он отвел близнецов в детский сад и пошел заниматься автоматизированными системами управления космическими аппаратами.

Какой бы враждебной ни казалась Исаеву жизнь, ему нравилось быть в ней человеком, чтобы замахиваться на роль творца и подчинять своей воле механизмы. При работе с механизмами и боеприпасами Исаев воображал момент смерти и думал над тем, кто будет плакать по нему, и приходил к тому, что никто.

В детстве Исаеву нравилось умирать понарошку, чтобы проиграть, как это будет. Самый главный момент — шествие на кладбище во главе с покойным — Исаев смаковал особенно. И пока занимался расстановкой гостей и очередностью речей, уставал так, что умирать передумывал: становилось скучно. В армии Исаев увидел ту же скуку на лице прапорщика, когда тот отходил по-настоящему. Одной рукой он схватился за сердце, другой — за Исаева и, пережив короткий момент боли, осел на пол с пустым и скучным лицом. Никакой трагедии в этом не было, а была знакомая Исаеву физика, и он увидел, что закон сохранения импульса кончается тогда, когда начинается скука.

Исаев продолжал умирать регулярно до тех пор, пока у матери не появились близнецы и другие дети. С ними ему никак не удавалось завладеть ее вниманием целиком. В последний раз, чуть только она в воображении Исаева припала к его телу и зашлась плачем, — за стенкой в плаче зашлись близнецы, и мать предпочла успокоить живых, потому что мертвому торопиться некуда. Исаев долго пролежал с каменным лицом, ожидая ее возвращения, но близнецы не унимались, и мать не шла. В конце

концов Исаеву надоело; он встал, переоделся в удобное, повесив в шкаф неудобное, и вышел в кипящую жизнь города.

В армии Исаева тяготили обыденность и превосходство физического над умственным. Тогда он увлекся музыкой. Исаеву больше подходило пианино, потому что он не любил собственный голос, но в пианино не хватало клавиш, и Исаев освоил гитару.

Переключая песни про глаза, сердца и любовь, Исаев слушал про осень, родину и майский гром. И подбирал к ним аккорды.

Поссорившись с женой, ротный Исаева напивался и просил аккомпанировать ему в каптерке. Исаев сбивался, но ротный вытягивал паузы голосом и тихо пел «Это все, что останется после меня», подставив обветренный кулак под щеку. Забывая слова третьего куплета, потому что все место в его голове занимали устав, имена солдат, детей и жены, ротный останавливал пение и, подставив другой кулак под другую щеку, говорил Исаеву: «Я так и не понял: а что в итоге останется».

Когда Исаев вернулся из армии, исчезло многое и многое изменилось. Не считая лавандовой девушки, поломанного мальчика, лип и пары одноклассников с физфака, исчезли живший по соседству отчим, пейджеры и порошки, которые разбавлялись водой и выпивались как сок. Появились новые кинотеатры, мобильные телефоны и интернет. Исаев разобрал старый «пентиум», продал его на запчасти и начал ходить в кино и покупать новые книги.

В кино и книгах он открыл, что человеку нравится жить во враждебном мире, что режиссеры нарочно выдумывают врагов, в которых нужно стрелять, а писатели нарочно сочиняют страдания, чтобы мучить героя и тем наскребать в нем человека.

Исаев вспоминал грустного и пьяного ротного и отвечал на его вопрос: «Ничего». «Ничего?» — сам себя переспрашивал Исаев. И снова отвечал: «Ничего». И тогда вспоминал фокстерьера, который уже не ходил по следу, потому что не мог припадать к земле из-за твердых наростов на шее. Отец поехал за лекарством, но врач сказал: «Пустое», — и дал фокстерьеру два месяца.

В заповеднике буйствовала жизнь, потому что снег уходил в землю, а трава выходила наружу и населялась заново. Стало много звуков.

Исаев смотрел, как отец спускается с фокстерьером в овраг и снимает с него ошейник. Потом они уходят далеко, и отец сидит на траве, а Исаев бегает за капустницей. Мимо проходит шакал, наполовину шерстяной, наполовину лишайный. Под небом становится ветрено, и капустницы улетают. Войско муравьев несет мимо Исаева жука-носорога как победный трофей. Исаев разоряет войско и отдает трофей отцу. Он спрашивает его: «А что после жука?», и отец говорит: «Трава». И потом он спрашивает: «А что после собаки?», и отец говорит: «Трава». И потом он спрашивает: «А что после тебя?», и отец говорит: «Ты».

Близнецы и другие дети стали школьниками, и у них появился свой отчим. Исаев встретился с ним глазами в зеркале прихожей и не увидел отличия. Он понял, что достиг того возраста, когда все, кто родились раньше него, были старше, но не взрослее, — и придумал съехать. Мать попросила навещать их почаще и отчего-то заплакала. Исаев вспомнил, как скучал по ней в детстве, ожидая ее с работы в доме соседки, родившей живого после мертвого. Он подолгу сидел, прилипнув к окну, и боялся, что она попадет под дождь, заболеет смертельной болезнью и он никогда не почувствует ее запах. Завидев мать, Исаев вырывался из рук соседки и выбегал под дождь, чтобы спасти ее, а скорее — спастись самому.

В комнату вошел отчим номер два, и мать перестала. Отчим ушел, и Исаев обнял ее, но не почувствовал прежнего запаха. Мать становилась маленькой, а Исаев рос дальше и больше не верил, что от дождей умирают.

Однокурсник Исаева разыскивал сожителя, чтобы легче было платить за квартиру, и Исаев пошел санитаром в больницу, где лежали бежавшие рассудком от враждебности, которую теперь несли сами.

На третьем дежурстве он уснул прямо в наблюдательной, потому что был измотан учебой и заработком. Ночью на него набросились и стали душить. Исаев закричал во сне немым криком, а открыв глаза, увидел, что это кричит душивший его. Он отбросил его от себя и побежал на воздух.

«Делирий», — сказал главврач и бросил перед Исаевым карту больного. На карте Исаев увидел отчима номер один и взял ее в руки, чтобы удостовериться. «Что?» — спросил Исаев, но не его, а себя. «Белочка», — пояснил главврач и, прикрыв глаза, втянул воздух, пропитанный нейролептиками. Он подал Исаеву руку и сказал: «До встречи». «До свидания», — сказал Исаев, но подумал: «Прощай». Главврач снова глубоко затянулся воздухом и подумал то же самое.

До выпуска Исаев добрался грузчиком и разнорабочим и ни разу не подвел соседа по квартире. С вечерними подработками его мирила действительность, точнее — нежелание возвращаться в собственную комнату, где под присмотром сознательных близнецов барахтался в манеже его новый брат.

Исаев не думал об отдельном жилье, пока душной майской ночью враждебность не подобралась к нему вплотную и пока неслышная молния и раскатный гром не разбудили в сожителе Исаева убийцу.

В ту ночь Исаев крепко спал, ничего не боясь в завтрашнем дне и ничего о нем не предчувствуя. Проснулся он оттого, что кто-то толкал его в грудь, и, включив свет, увидел страшное лицо сожителя. Тот дышал перегаром и шепотом кричал: «Я убил! Я убил! Помоги, Исаев!»

Он потащил Исаева на кухню, где были готовые, знакомые Исаеву по новым фильмам декорации, и если бы не запах, который фильмы не передавали, Исаев простоял бы на минуту дольше. И на минуту дольше смотрел бы на взрослое тело, по-детски свернутое калачиком на полу, и на бурую, словно заржавелую кровь; и подумал бы еще, что не ромашки в вазах, не мумия фазана и не корзина с фруктами должны называться натюрмортом, а этот расписанный шпротным маслом холст стола.

Сожитель суетился и продолжал хрипеть, вталкивая Исаева вглубь кухни. Тот оттолкнул его, вернулся в комнату и вызвал милицию и скорую.

В окнах Исаева шевелилась зелень, пробуждая в нем жажду жизни. Внутри же Исаева шевелилось знание: чему быть, того не миновать, — и он возненавидел того, кто внушил ему это знание, потому что ему хотелось миновать.

Когда квартира наполнилась людьми в форме, халатах и штатских одеждах, сожитель, пытаясь спрятаться за Исаева, как когда-то Исаев прятался за мать, кричал, что он слабый — и потому не мог, а Исаев сильный, потому что был в армии.

«Я даже не пью», — сказал Исаев и ушел в ванную, где его вывернуло наизнанку.

Получив диплом, Исаев легко нашел работу на предприятии оборонного производства и поступил в аспирантуру. Чем враждебнее становилось в мире, тем больше работы доставалось Исаеву и тем быстрее писалась его диссертация.

На работе Исаевым интересовались пожилые ученые и молодые женщины, потому что первые думали о возвышенном, а вторые — о насущном. Ученых заботили разработки Исаева в вопросах дальности полета боевых снарядов, а женщин — беспроцентная ссуда на жилплощадь для молодых семей. Исаев же думал обо всем сразу, но, устав от жизни, в которой выбирали его, он решил выбирать сам.

Все женщины в блоке Исаева ходили в белых халатах и отличались только по голосу. Все рабочее время Исаев проводил, не поднимая головы от расчетов и узнавая на слух, кому принадлежит голос. И только голоса одной девушки Исаев никогда не слышал и потому не знал, что она существует. Заработавшись однажды допоздна, он не заметил, как все разошлись, и, услышав незнакомый голос, поднял глаза.

У нее не было научного будущего и родственников, проживающих в городе Исаева, а было лицо, полное напряжения до шести вечера и полное радости после шести. Когда Исаев впервые увидел ее, было около девяти.

«Зачем же вы тут работаете, если не любите физику?» — позднее спросил ее

Исаев, вспоминая лавандовую девушку. «Я люблю, — ответила девушка, — но не такую сложную». «А что любите больше?» — спросил Исаев. «Детей», — ответила девушка и через месяц ушла школьным учителем. Исаеву же не хотелось оставлять после себя траву, и он пошел за кольцом.

К окончанию диссертации Исаева определили на полигон, где он проводил по нескольку недель и где не было ни животных с шерстью, ни сотовой связи, но были неохватная степь, двухэтажный сруб и баня из кирпича.

Закончив испытания, Исаев спешил в дом, чтобы сидеть у огня, писать расчеты и думать о жене. Снег доходил ему почти до колен и не давал упасть. Вынимая ноги из глубоких лунок, он пробирался медленно, выставив руки вперед и защищая лицо от свистящей наледи. Из дома кричали и размахивали фонариками, но Исаеву казалось, что это кричит ветер и обманывает его человеческими голосами. Из дома кричали: «Сюда!», а до Исаева долетало: «Туда!», будто указывая на огневые позиции, где еще недавно разрывались снаряды и где теперь бушевала метель. Он не помнил, чтобы хоть раз за время испытаний стояла хорошая погода, а вокруг было бы то, что и должно быть на природе, — тишина. За что он любил ее, того ни разу не получал здесь, и потому решил, что это нормальная плата за его к ней враждебность: ведь в мире, о котором Исаев тосковал и в который не верил, «Солнцепек» должен был напоминать о лете, а «Буратино» — о золотом ключике.

Весной у Исаева родился сын, а осенью он закончил диссертацию и выехал на полигон для окончательных испытаний.

На пятый дождливый день с ним связались по рации и участливо, но сбивчиво сообщили, чтобы он срочно выезжал домой по семейным обстоятельствам. Исаев увидел напарника, прятавшего глаза. Его лицо стало как выжженная степь, и он спросил: «Живы?», но диспетчер, воспользовавшись помехами, повесил трубку.

Пока Исаев летел в забытьи до дома, чтобы окончательно убедиться во враждебности мира и чтобы раз и навсегда объявить его непригодным для жизни, к диспетчеру подошел человек и сказал, что они напутали с фамилией и с названием полигона. Но диспетчер сказал, что он не ворон, и если хотят, пусть звонят сами.

Когда Исаев вошел в квартиру, там было тепло и шумно, как бывает только от живых людей. Он посмотрел на обувь и увидел незнакомую женскую пару от широкой разлапистой ноги. В кухне у плиты стояла хозяйка этой пары, похожая на пожилую медведицу, и помешивала кашу. Исаев представил, как она выключает плиту, вынимает из каши топор и разливает ее по деревянным мискам перед ревущими всклокоченными медвежатами.

Жену и сына он нашел в детской, в которой за время дороги уже представил себя больным осиротевшим стариком. В комнате после ремонта еще не хватало мебели. Она была чистая и замершая от ожидания большого светлого будущего.

Увидев отца, сын заревел и протянул к нему руки; и этот крик, отбившись от голых стен, ударил по Исаеву, как весь его прожитый опыт.

Он взял его на руки и заглянул ему в глаза. Это были глаза, готовые увидеть увиденное Исаевым от момента, когда Исаев болтался в воздухе в отведенных от тела руках соседки, и до момента, который Исаев не мог угадать. И тогда он вышел из детской, рассчитался с медведицей и сказал, что ребенку лучше с матерью.